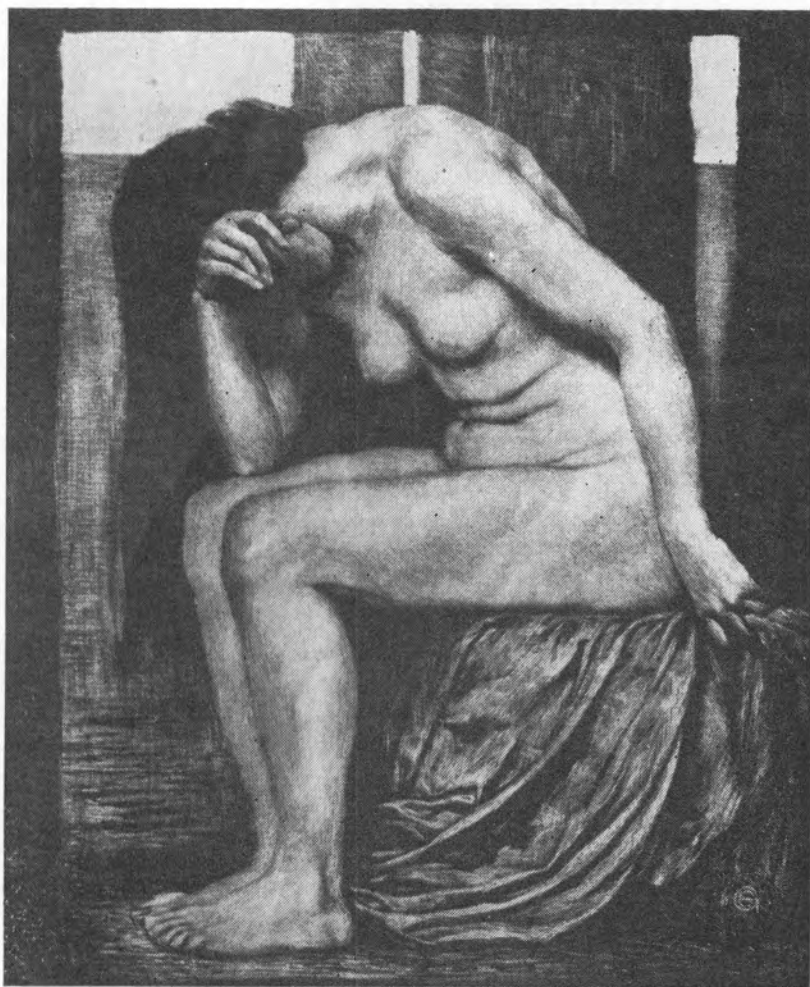


ISSN 0207-4001

История

1989

3



ЭРНСТ ГЕТГЕНС. ЕВА. Из фондов Государственного музея искусств Латвии

Эрнст Гетгенс — немецкий художник, график и живописец. Родился 5 октября 1872 года в Латвии недалеко от Кулдиги. Образование получил в Берлинской художественной академии. Умер 15 августа 1938 года в Шлезвиге.

Фото Мары Брашмане

Даугава

1989

3

МАРТ (141)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ. РИГА

В Н О М Е Р Е :

Проза и поэзия

- Евгения ГИНЗБУРГ. Крутой маршрут. Хроника вре-
мен культа личности. Продолжение 3
Мара ЗАЛИТЕ. Суд. Фрагмент драматической поэ-
мы. Предисловие Роальда Добровенского 47

Своими глазами

- Илан ПОЛОЦК. Черные костюмы Спитака 58
Владлен ДОЗОРЦЕВ. Послесловие к катастрофе 66

Публицистика

- Юрий АБЫЗОВ. Букет имен! Русская культура
в Латвии — ее вчера и сегодня 69
Яков БРИСКИН. Какую выберем дорогу! 74
Янис ВИТКОВСКИС. Самостоятельность и пути
к ней 81
Фредерик ФОРСАЙТ. Досье «ОДЕССА» 87
Маргер ВЕСТЕРМАН. Высшая правда 100

Мемория

- Иван БУНИН. Окаянные дни. Фрагменты 103

(см. на обороте)

В Н О М Е Р Е (окончание):

Искусство

**Велга ОПУЛЕ. Очарование искусства Хильды
Вики 110**

**Ольга ХРУСТАЛЕВА. Конференция как конферен-
ция 114**

Вадим РУДНЕВ. Заметки о новом искусстве . . . 118

Обзоры, размышления, рецензии

**Андрей ЛЕВКИН. Святой, который летает сам
по себе 122**

Почта «Даугавы» 125

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Главный редактор
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

Редакция
Сергей КОЛЬЦОВ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ

КРУТОЙ МАРШРУТ

Хроника времен культа личности



Глава вторая

СНОВА АУКЦИОН

Наш друг по ссылке Алексей Астахов, инженер, в котором пропал незаурядный писатель, иногда баловал нас сочными устными новеллами из колымского быта. Между прочим, в его репертуаре был рассказ о том, как ведет себя, смакуя свободу, только что вышедший из лагеря какой-нибудь приисковый Колька Карзубый (он же Ручка, Москва, Золотой).

За две пайки он заказывает себе фанерный чемодан с железной ручкой (так называемый «гроб»), обзаводится вольной подушкой, сделанной из четырех цветных накомарников и старой телогрейки. Потом он одевается во все вольное, то есть в новый лагерный бушлат, обшитый по горлу бурундучьим мехом, и кубанку, сделанную из полы старого вохровского полушубка. Затем Карзубый блаженно и бесцельно гуляет по тропинке между вольнонаемной столовой и вольнонаемным ларьком, неизменно при встречах здороваясь (за руку!) с самим комендантом лагерной вахты.

Смешно сказать, но, видимо, в этом уникальном положении действуют какие-то общие психологические законы. Хотя и с иронической оглядкой, но почти все приметы карзубовского вольнонаемного поведения я обнаруживала в первые дни внелагерной жизни и у себя. Чемодан мой как две капли воды был похож на его «гроб». Подушка моя, вернее наволочка на нее, была сшита именно из четырех цветных накомарников. На лагерную телогрейку первого срока я приспособила если не бурундучий, то какой-то кошачий меховой воротничок. И главное, так же как Карзубый, я испытывала блаженное чувство при каждом посещении так называемого магазина (ларек, насквозь провонявший керосином), столовой, а особенно почты.

В магазине торговала моя квартирная хозяйка тетя Маруся, добродушная толстуха с хриплым голосом. Глядя на нее, почти невозможно было себе представить, что она убила своего мужа из ревности.

Маруся ужасно смеялась, видя, что я совсем не ориентируюсь в ценах и вообще ничего не смыслю в торговом деле.

— Слушай сюда, — снисходительно разъясняла она, — слушай, я тебе плохого не желаю. Бери вот эти мужские брюки. Без ордера тебе устрою,

по блату. Распорешь их, перекрасишь в черный цвет, и выйдет тебе такая юбка, что на все твои пять поражения хватит. До материка в ней дотянешь. Верно говорю, я тебе плохого не желаю.

Оказалось, что продукты выдают по карточкам. Тетя Маруся чуть не лопнула со смеха, когда выяснилось, что я не понимаю значения популярного среди вольного населения глагола «отovarить».

— Горе ты мое! — говорила она сквозь приступы хриплого хохота. — Ну, слушай сюда! Вот, к примеру, у тебя здесь талон сорок три-бе. Что он сам из себя, к примеру, стоит? Грош ему цена в базарный день! И вдруг я вешаю на двери магазина объявление: «Талон сорок три-бе отоваривается полкилом сечки ячневой» или там «макаронных изделий». Вот тут-то этот самый сорок три-бе становится ценный. Его тут и сменить и продать можно, а то самой все полкила получить и сжевать. Поняла?

Меня вдохновляли такие детали вольнонаемного быта. Ведь и они были атрибутами свободного существования, включали в себя элемент личного волеизъявления. Хочу — сменяю сорок три-бе, хочу о т о в а р ю его и буду варить на своей печке-железке эти самые макаронные изделия.

Особенно нравилось мне ходить на почту. В нашем Таскане своего почтового отделения не было, надо было идти за четыре километра на так называемый второй Таскан. И я шла туда, чтобы прицениться, сколько будет стоить, если перевести в Казань столько-то рублей для Васьки и в Рыбинск, где осталась после эвакуации из Ленинграда моя мама. Деньги — первую зарплату — я должна была получить только через месяц. Но ведь надо было подготовиться к этому великому дню, когда я смогу открыто и свободно послать моим родным свои собственные заработанные деньги.

А пока я сдавала заказные письма на материк, с наслаждением вписывая на конверте обратный адрес. Не почтовый ящик с дробью, а просто — улица такая-то, дом такой-то . . . Сдав письма, я еще долго стояла у конторки, делая вид, что жду кого-то или чего-то, а на самом деле просто радуясь запаху чернил и жженого сургуча. С почты было вроде ближе к материка, меньше ощущалось наше осторожное одиночество. (Все знали, что Колыма не остров, но все упорно называли ее островом, а Большую землю — материком. И не только называли — убежденно считали, что так оно и есть.)

Работа в детском саду ничем не отличалась от той, какую я вела здесь раньше в качестве заключенной. Но была несказанная радость в том, чтобы идти на работу без вертухая или бежать в обеденный перерыв д о м о й, в свою комнату, заставить там уже пришедшего Антона, а потом вместе есть суп и кашу, сваренные с вечера. Это давало иллюзию семьи, и я стала как-то забывать, что вольная-то, собственно, только я, а Антон все еще зэка, а до конца его срока (третьего по счету!) все еще оставалось больше шести лет. Он и сам как-то отвлекался от этой мысли, тем более, что его положение на Таскане было исключительным: он свободно ходил по поселку без конвоя, посещал вольных больных. Даже в Марусин магазин заходил. Только ночевать обязан был в зоне.

Вобщем, я переживала тот удивительный период, когда каждая мелочь обыденной жизни — даже такой убогой, как тасканская! — радует и рождает благодарность. Только месяца через два я впервые обратила внимание на то, что моя комната совсем не держит тепла, дров на нее уходит чертова прорва, а по утрам — мороз. Потом заметила, что довольно трудно таскать воду на второй этаж и, главное, что здесь как-то страшно-вато по ночам, когда остаешься одна. Моя дверь совсем особняком от

тети Марусиной, а между тем уголовники, которые освободились и ждут начала навигации для выезда на материк, стали пошаливать. Впрочем, что у меня воровать-то!

Из этих освободившихся уголовников у меня бывали двое. Один из них, старик-сибиряк, похожий на Распутина, слыл гадальщиком. Впервые его привела ко мне тетя Маруся, и с тех пор он время от времени заходил один. И я привечала его. Почему? Да потому, что он, нацепив на нос очки в железной оправе, долго и пристально вглядывался в линии моей левой руки и затем говорил:

— Вот как хошь, а не вижу я на твоей руке смертности твоих детей. Вот помяни мое слово, затерялся где-то твой старший сынок . . . А жив . . . Не вижу его смерти . . . Нет, не вижу . . .

Этого бормотания было достаточно, чтобы перевесить все точные телеграммы, сообщения и справки, которые я к тому времени уже, к несчастью, имела. Фантастические отчаянные варианты Алешиной судьбы и его чудесного спасения посещали меня по ночам. Даже Антону я ничего об этом не говорила. Это была наша тайна. Моя и этого полубезумного старика, похожего на портреты Распутина. И я подкармливала старика, презрев все старательно проконспектированные в юности университетские премудрости и сдавшись невозможной мечте.

Что ж, пусть осудят мои суеверия те, кого Бог миловал, кто никогда не терял своих детей.

Второй мой визитер-уголовник был «поставщиком двора» — он носил мне дрова, и эта вязанка была самым крупным расходом в моем ежедневном бюджете. Но я была довольна аккуратностью поставщика и не торговалась с ним. Наоборот, еще делала ему ценные подарки, например подарила деревянную ложку и жестяную миску. Он прослезился от умиления, от того, что я догадалась: ведь и впрямь не из чего ему похлебать варева, ежели попадетсЯ. Нередко я даже угощала его супом и кашей. Он садился прямо на порог, хлебал алчно, забывая про ложку, прямо через край, и уходил, осыпая меня благодарностями. Иногда глядя на его доверчиво устремленные на меня глаза, я даже ощущала какие-то смутные угрызения совести за то, что в течение всего своего долгого лагерного пути всегда испытывала к уголовным только отвращение. Ведь вот разные же есть и среди них. Разве вот этот может сделать мне что-нибудь злое?

Но вот однажды в детском саду срочно потребовался сульфидин для заболевшего ребенка. На медпункте сульфидина не было, но он был у меня дома. И я срочно побежала за лекарством домой в необычное, неурочное время.

Ключ почему-то застрял в скважине и не поворачивался ни туда, ни сюда. Досадливо мучаясь около двери, я вдруг неожиданно спиной почувствовала подстерегающую меня опасность. Оглянулась — и застыла от ужаса. За моей спиной стоял с поднятой рукой с занесенным над моей головой тяжеленным поленом мой поставщик двора, мой дровяной доходяга. Еще секунда — и я упала бы, оглушенная ударом.

Я с криком оттолкнула его и пустилась вниз по лестнице, зовя на помощь. Но прежде чем прибежали люди, мой доверчивый приятель успел скрыться.

— Как его фамилия? Или хоть имя? — допытывался Антон этим вечером.

Но я не знала. Только живописала особые приметы. Тонкий синий нос чайничком. Прихрамывает.

— Это Киселев, — безапелляционно решил Антон. Ведь он постоянно лечил и «комиссовал» всех уголовных. — Иду чинить суд и расправу.

Напрасно я его просила пренебречь этим делом. Второй раз он уже не полезет, этот Киселев . . . Но Антон твердо держался своего принципа в общении с уголовниками. А принцип был такой: по начальству никогда не жаловаться, но не пропускать безнаказанно ни одной наглой выходки.

— Отлуплю самолично, — пообещал Антон. И это были не пустые слова. Кулаки у доктора были пудовые. Видно, эти железные лапы достались ему в наследство от нескольких поколений гроссбуаурзов. А интеллигентность профиля — от единственного затесавшегося в родню не то химика, не то алхимика.

На другой день доктор шумно ввалился в прихожую детсада, волоча за собой избитого доходягу.

— Этот? — громовым голосом вопрошал доктор, держа свою жертву за шиворот.

— Н-н-нет, — сказала я сперва нерешительно, а услыхав голос подсудимого, уже с ужасом: — определено не тот!

— Ды Господи! — зарыдал невинно наказанный, сморкаясь в меховую ушанку, — за что лупите, Антон Яковлич? Подлец буду — не я! Свободы не видать! Это Топорков . . .

— Что ж ты говорила нос чайником? — раздражался Антон, перекладывая свою судебную ошибку на меня. — Ну ладно, не беда! Рассчитаемся и с Топорковым . . . А тебя, Киселев, зато сактируем и поплывешь на материк . . .

Он сдержал свое обещание. После расправы с Топорковым оба голубчика были «активированы». Это были типичные представители колымского племени «шакалов». Они уже еле держались на ногах от истощения, но неуклонно воровали, а при случае не зарекались и от мокрого дела. Теперь исполнялась заветная мечта обоих: по состоянию здоровья оба подлежали отправке из тайги сначала в Магадан, а затем и на вождеденный материк. Перед отъездом оба заходили прощаться и очень благодарили доктора за науку, а главным образом, за активировку.

Из чистосердечного признания Топоркова выяснилось, что в соблазн его ввела моя ватная подушка в наволочке, сшитой из четырех накомарников. Уж больно ему захотелось поспать на мягоньком.

После этого происшествия Антон задался целью сменить квартиру. И вскоре он перевез меня в благоустроенный домик, где жил экономист пищекомбината Яроцкий. Он отбыл свои восемь лет и теперь жил как вольнонаемный, по-семейному, выписал с материка жену с дочкой.

У меня просто дух захватило при виде этой квартиры, а главное, моей новой комнаты. Давно я не сталкивалась с таким уровнем цивилизации: даже уборная была здесь не на улице. Но главное — Яроцкие дали мне в пользование письменный столик и кучу книг. И теперь, возвращаясь с работы, я входила в комнату и подолгу стояла на пороге, зачарованная волшебным видением — стопкой книг на письменном столе.

И совсем, совсем мы забыли, что Антон все еще заключенный. Пока в один несчастный день . . .

— Тимошкина снимают! — объявил, входя к нам в комнату, Яроцкий. Это был удар с неожиданной стороны. Не ждал этого и сам Тимошкин, начальник Тасканского лагеря, который так хорошо относился к заключенным вообще и к нам с Антоном в частности. Впрочем его увольнение с Таскана не было формальным снятием с работы. Просто его вдруг решили откомандировать на какие-то годовичные курсы повышения квалификации в Магадан. Но от директора пищекомбината Каменной шли слухи, что это не случайно, что кто-то, видимо, все-таки уведолил магаданское начальство о тасканском рае и о гнилом либерализме Тимошкина.

Прощание было трогательным. Больше всего наш разорившийся добрый помещик тревожился о том, в какие руки попадут его приближенные люди, которым он, в отличие от помещиков прошлого века, не в силах был дать вольную.

— Нам-то что! — говорил он преувеличенно бодрым голосом, огорченно оглядывая свою обжитую квартирку. — Нам-то что! Мы-то не пропадем, верно, Валюха? Нам год в Магадане прокантоваться — милое дело . . . Как-никак, дом культуры, баня, два кино . . . А вот за доктора сердце болит. Не обидели бы без меня . . .

Потом он жал мне руку и высказывал надежду, что я буду «верным другом жизни», а не какой-нибудь там трали-вали, что меняет мужей на каждой командировке . . . И что ежели, не к ночи будь сказано, новое начальство наладит доктора на прииск, то и я поеду с ним. Ладно хоть я-то освободиться успела . . .

В день отъезда он перепил с расстройства, и Антону пришлось в последний раз отхаживать его.

— Как только без тебя жить будем, — бормотал он, тряся кудрявой головой, в которой столько было забубенности, кутерьмы, неразберихи и в то же время столько благородных, размашистых, чисто русских добрых порывов. — Верно, Валюха? Привыкли, ровно к отцу . . .

Бело-розовая Валя и впрямь, как дочка, бросилась на шею доктору вся в слезах. Мы помогали им укладываться, грузиться и поехали провожать их до второго Таскана. На прощанье Тимошкин заговорил со мной на «ты».

— Так я на тебя, девка, в полной надёже. Не брось друга в беде!

Обратно мы шли четыре километра пешком, молчаливые, угнетенные разлукой с этими добрыми людьми, одолеваемые тягостными предчувствиями.

Когда мы узнали, что новым начальником Тасканского лагеря назначен Пузанчиков, знакомый мне по Эльгену, я стала успокаивать Антона. А также и себя самое. Уравновешенный человек. Без садистского азарта. Просто служит, все равно как в промкооперации. Лишь бы надбавки шли. А как легко согласился тогда выменять меня на печника. Деловой руководитель!

И действительно, первые дни, даже недели нового царствования не внесли существенных перемен в наш быт. Антон по-прежнему свободно выходил за вахту, посещал вольных больных в поселке, приходил ко мне ежедневно обедать и ужинать.

Только месяца через полтора появились первые тучки, предвещавшие нам грозу. Дело в том, что у Пузанчикова была жена Евгения Леонтьевна, врач, ставшая теперь начальником тасканской лагерной санчасти, то есть прямым командиром Антона. Это была невысокая энергичная женщина лет тридцати с миловидным лицом и маникюром на пальцах (а это было не так-то просто обеспечить в тайге). Она называла Антона по имени-отчеству, соглашалась с его диагнозами и назначениями. Но когда заболел внук директорши пищекомбината Каменной и та позвонила, как обычно, в санчасть лагеря, прося прислать Вальтера, Евгения Леонтьевна любезно ответила, что придет с а м а.

Она назначила мальчику лечение, но болезнь затянулась, и Каменова стала настаивать, чтобы прислали все-таки Вальтера, который лечил всю семью уже несколько лет. На это доктор Пузанчикова, мило улыбаясь, разъяснила, что доктор Вальтер действительно неплохой диагност, но, сидя уже двенадцать лет в лагере, естественно, не может быть в курсе новых достижений медицины.

— Надо мне пореже ходить к вольникам, — озабоченно говорил Антон, — но как это сделать, не обижая людей?

Прошло еще несколько недель, и однажды я встретила в магазине нашу докторшу, только что вернувшуюся из Ягодного с какого-то совещания.

— Как живете? — ласково спросила она меня. — Неплохо? А я, к сожалению, должна вас огорчить. Доктора Вальтера от нас забирают. На прииск Штурмовой. Там открыт новый лагпункт, врач нужен до зарезу, и сануправление просто аукцион объявило. Кто хочет получить новое оборудование и кредиты за одного хорошего заключенного врача? Я долго сопротивлялась . . .

— Но все-таки продали его с молотка?

Она сделала вид, что приняла мои слова как шутку.

Антон был настолько убит известием, что мне пришлось взять на себя роль оптимиста.

— Послушай, ведь и на приисках люди живут . . . Ты жив-здоров . . . И я поеду за тобой . . . Ведь этого-то они мне запретить не могут . . .

Увы, именно это они и запрещали. И Антон уже знал об этом. Полет административной фантазии наших начальников был несопоставим с куцым воображением тюремщиков прошлого века. Система все усовершенствовалась. И оказалось, что новый лагпункт прииска Штурмовой организовывался по особому принципу: он будет заселен только заключенными и начальством, лагерным и производственным. Обычные вольняшки, тем более бывшие заключенные, в этом поселке не прописывались и работа им там не предоставлялась. Таким образом, я была лишена права последовать за Антоном и поселиться в вольном поселке этого прииска, как мы вначале планировали.

Рухнула наша иллюзорная семейная жизнь. Только что мы посиживали вместе с нашими квартирными хозяевами за чайным столом, шутили, беседовали о книгах, чувствовали себя людьми. И вот снова — невольничий рынок, прииск, разлука, неизвестность, черная яма.

Ярочки были потрясены нашим несчастьем. Особенно Мария Павловна, материковская жительница, впервые столкнувшаяся с колымскими нравами. Она не могла без слез смотреть на нас и все повторяла изумленно:

— Да как же так? Да ведь этого же не может быть . . .

. . . Увозили Антона одного, без этапа, по спецнаряду. Тасканский конвоир должен был доставить его до Эльгена, а там передать другому для дальнейшего этапирования.

Я попробовала было пройти в лагерную зону, чтобы помочь ему собраться, но теперь, без Тимошкина, меня не пропустили.

— Вольным нельзя!

— Да какая же я вольная . . .

— А как же . . . На довольствии у нас не состоите . . . Ну и все!

Мы простились в половине двенадцатого ночи. Не позднее двенадцати он должен был быть в зоне. На этот раз мы не говорили друг другу обнадеживающих слов, как делали это прежде, когда меня увозили от него. Теперь перед нами была пропасть — шесть лет, оставшихся ему до конца срока. Без свидания. Может быть, даже без переписки.

Он ушел, а я как села за стол, так и просидела до утра. Шел июнь, и ночь была белая. К пяти часам очертания предметов потеряли ночную размытость, стали четкими. И я вдруг увидела в моем окне резко очерченную руку и рукав военной гимнастерки. Рука стукнула, и чей-то голос с украинским акцентом скомандовал: «На выход давай!»

Я выскочила на крыльцо. У дома стоял грузовик. В кузове, на каких-то

ящиках, сидел Антон. Знакомый тасканский вохровец, по прозвищу Казак Мамай, отрывисто распорядился:

— Сидай у кабину, жинка! А як на трассу выедем, так перейдешь у кузов, та и побалакаете один з одним . . .

Я беспрекословно повиновалась. И вправду: как только машина миновала наш поселок, Мамай остановил шофера и самолично помог мне вскарабкаться наверх к Антону.

В этих неожиданных проходах, в доброте Казака Мамаю, давшего нам еще раз увидеться после последнего навечного прощанья, мы суеверно усмотрели доброе предзнаменование. Вот и не ждали, а нашелся хороший человек. И так же будет дальше. Добро встречается и там, где его совсем не ждешь. Увидимся, обязательно увидимся. А пока я должна переезжать в Магадан, к Юле.

Юля, моя ярославская сокамерница, мой верный одиночный Пятница, жила теперь, после освобождения из лагеря, в Магадане, работала бригадиром какого-то игрушечного цеха. Она уже не раз писала мне в Таскан, хвалила свою комнату и работу, звала к себе, обещала устроить «в колымской столице». Не считая Антона, Юля была моей единственной родной душой на этой земле. Мы считали себя сестрами, крещенными в общей ярославской купели.

Грузовик еле тащился, частенько буксуя. Ящики, наваленные горой, тряслись, тархтели и колотили нас по ногам. Но нам хотелось, чтобы это последнее наше свиданье длилось как можно дольше, и мы радовались путевым неполадкам. Время от времени Казак Мамай открывал дверку кабины, высовывался из нее, поглядывал на нас. Ему явно было нас жалко, и чтобы скрыть недозволенные чувства, он снимал фуражку, протирал ее внутри платком, а потом этим же платком тер свой крутой лоб и коротко стриженую смоляную голову с чубчиком, за который он и получил свое прозвище.

Мы прощались всю дорогу, бестолково повторяя снова и снова Юлин магаданский адрес, который становился теперь для нас единственным ориентиром во тьме непроглядной разлуки.

Самый момент окончательного расставания пришел как-то неожиданно быстро и длился просто один-единственный миг. Оказалось, что машина с заключенными, этапирруемыми на прииск Штурмовой, уже давненько торчала около злыгеновского управления и не могла тронуться только из-за того, что Антон опаздывал и у конвоя не сходился счет. Чужие конвоиры ругались. Они грубо отстранили меня, мгновенно затолкали Антона в свою крытую брезентом машину, в которую уже было натолкано человек пятьдесят мужчин. Увидеть его я уже больше не смогла. Сквозь пыхтенье готовой тронуться машины я еще успела различить только его последний возглас.

— Жди меня! Обязательно жди! — крикнул он по-немецки.

. . . Моя тасканская начальница — заведующая детским садом — долго сопротивлялась моему увольнению. Сначала она упрашивала меня, суля выдать вне очереди ордер на пять метров бязи. Потом стала грозить. Дескать, не хочу добром, так она мне устроит в Магадане т у е щ е жизнь. Ей стоит только позвонить Марьиванне, а та мужу скажет — и век мне в Магадане на работу не устроиться.

В конце концов, перед лицом моего тупого упорства заведующая сдавалась, и мы покончили компромиссом: она отпустит меня, но только не сейчас, а через месяц. А за этот месяц я должна выучить комсомолку Катю играть на пианино весь репертуар сборника «Песни дошкольника». Катя поймет с пальцев, у нее — слух.

Нескончаемо тянулся этот месяц. Я шла на работу и с работы, огляды-

ваясь кругом и недоумевая: неужели это тот самый тасканский рай, к которому я стремилась годами, о котором мечтала на Беличем и на Эльгене . . . Какая, оказывается, тусклая таежная дыра! Тучи комаров и гнуса. Болотные топи вокруг поселка. Заросли ядовитого тростника. Антон говорил, что в этом тростнике содержится страшный яд — цикута.

Теперь все мои мысли рвались в Магадан. В столицу! В центр колымской цивилизации. Правильно говорил Тимошкин: дом культуры, баня, два кино . . . А главное — там Юля. И Юлин адрес, который известен Антону. И по этому адресу может прибыть треугольник, исписанный русскими буквами, похожими на готические. Маленькое В, точно журавль, опустивший нос в колодец.

Тасканские вольняшки сыпали соль на мои раны. Стоило мне показаться на улице поселка, как кто-нибудь обязательно подходил и спрашивал, не знаю ли я, чем тогда доктор вылечил так быстро рыжего Ивана? Или парикмахера Володьку? Может, оставил он мне эти рецепты? Нет? Вот горе-то! Какого человека угнали! Кто теперь спасать-то нас будет!

Все они высказывали мне сочувствие: «Семью разбили . . .» А шофер пиццекомбината, бывший вор «в законе» Федька-Чума, ныне перековавшийся на передовика производства, сказал мне:

— Слышь, довезу до Магадана-то . . . Собирай барахло! Имею сознание. Кабы не твой Вальтер, лежать бы мне теперь под сопкой лицом на восток, с биркой на ноге. Либо на деревяшке ковылять . . . Знаешь, каким диагнозом болел-то?

И с гордостью, точно графский титул, безошибочно выговорил:

— Об-ли-те-ри-ру-ю-щий эн-до-ар-те-рит . . .

Глава третья

ЗОЛОТАЯ МОЯ СТОЛИЦА

По пути в Магадан мне обязательно надо было заехать в Ягодное. Временная справка об освобождении из лагеря, выданная эльгенским УРЧем, давно была просрочена. Ее надо было сменить на так называемую «форму А», по которой спустя какое-то время должны были выдать годичный паспорт. Получить эту форму можно было только в Ягодном.

Шофер Федька-Чума, благодарный пациент Антона, согласился заехать и туда, хотя для этого приходилось делать большой крюк. Денег с меня он брать ни за что не хочет.

— На кой мне бес твои бумаги? — меланхолично замечает он. — Мне и тратить-то их не на что. Доктор-то твой, знаешь, на прощанье чего мне говорил? Учти, говорит, Федор, тебе каждый шкалик али там каждая закурка — это, говорит, просто-таки гвоздь в крышку гроба. Вон как! Это, говорит, не шутка у тебя, а облитерирующий эндоартерит . . .

Федька горделиво косится на меня . . .

Едем . . . Можно сказать, летим. Федька — великий знаток колымской трассы. Знает все прижимы и повороты, знает, где нельзя, а где можно расположиться на привал.

— Устала? А вот сейчас до распадка доедем — и перекур. Припухай себе!

Мы выходим из машины, располагаемся в безмолвном, высланном мхами распадке, раскладываем на газете пирожки с картошкой — подорожники, заботливо припасенные Федькиной женой. Она у него не блатная, наоборот, фраерша, самостоятельная женщина со статьей «Указ». От пирожков веет домовитой слободской жизнью.

Покарали же Федькину жену за какие-то колоски или кочерыжки, относящиеся к сектору государственной собственности. Попутал ее нечистый в голодный военный год. Вот и угодила на Колыму.

Но как она хлебный квас варит! Артистка! Федька наливает мне его в мою кружку из закоптелого котелка, обмотанного чистым рукавом от старой рубашки.

— Нет, недаром я завязал, — говорит, утираясь, Федька, — с такой хозяйкой по шалману не затоскуешь.

Одно только утомительно: в пути Федька непрерывно требует, чтобы я ему т и с к а л а р ó м а н ы. До Ягодного еще полпути, а я уже успела изложить ему извилистые биографии Атоса, Портоса и Арамиса. Теперь перехожу к злоключениям и победам славного виконта де Бражелона.

Примерно каждые пять-шесть километров мой рассказ прерывается очередным дорожным постовым, требующим документы. Каждый строго допытывается, почему просрочена справка, почему нет «формы А». И я скучным голосом объясняю, что меня задерживали на работе, и поэтому я не могла выехать в Ягодное за «формой А». А сейчас вот как раз именно за ней и еду. Постовые записывают номер машины, номер справки, номер моей чистенькой трудовой книжки. Потом неохотно отпускают. А Федька-Чума удивляется.

— Такая ты баба башковитая . . . Ишь, сколько романов знаешь? А чего ж ты лягавым напрямки так вот всю правду и режешь? Закосить не можешь, что ли? Сказала бы: а я, мол, гражданин постовой, не сильно тороплюсь насчет «формы А», потому как со дня на день ожидаю полной ребелетации . . . Дескать, сам товарищ Ворошилов, аль там Молотов, мое дело разобрал и аж лично товарищу Сталину доложил. А тот сказал, что семь шкур с того спустит, кто над невинной гражданкой издевался . . . Чтобы лучше в делах разбирался . . .

Федька-Чума гогочет, обнажая свои желтые лошадиные зубы. Верхний клык справа у него золотой, и Федька гордится им только разве немного поменьше, чем облитерирующим эндоартеритом.

В Ягодном, возле небольшого домика, покрашенного в идиллический розовый цвет, толкуются приисковые мужчины. Здесь управление Севлага. На лево от входа, в кассовом окошечке, выдаются вожделенные «формы А».

Федька объясняет мне, что я должна войти в дом с ним вместе и лучше всего под ручку. Тогда всем будет ясно: место уже занято. Иначе все шакалье набезит. Вишь, дожидаются . . . Это ведь кто тут толчется? Это ведь приисковые женихи тут толкуются, норовят заполучить вольную бабу. С «формой А» даже загс регистрирует.

Я много слышала (и уже немного писала) об этой колымской ярмарке невест. Забавно увидеть все это воочию. В сущности, если вдуматься в это явление и присмотреться попристальней к тем, кого Федька назвал шакальем, то, пожалуй, в этом стремлении к семье раскроется именно человеческое, а вовсе не шакалье начало. У каждого из этих женихов за плечами тернистый путь. И характерно: все эти бывшие уголовники, раскулаченные крестьяне, растратчики и расхитители казенных кочерыжек и даже самые отъявленные урки хотят именно жениться, а не просто вступить в связь. Хотят, чтобы все было честь по чести, с загсом и переменной фамилии.

Вдруг я замечаю на одном из стоящих поодаль грузовиков надпись «Прииск Штурмовой». И, пренебрегая всеми правилами колымского хорошего тона, бросаюсь в самую гущу женихов с возгласом: «Кто тут со Штурмового?»

Нет, я все-таки родилась под счастливой звездой! Подумать только, какая удача! Он вчера — вчера! — видел Антона, этот экспедитор со

Штурмового. Он стоит передо мной в штанах полугалифе, подвязанных вместо пояса веревкой, и, почесывая волосатую татуированную грудь, обстоятельно рассказывает мне, в каких условиях живет сейчас Антон.

— Вообще-то он на закрытой, на режимной стало быть командировке. Семь километров от центрального участка. Никого туда не пускают. Но слух есть, что пайка там даже вроде больше нашей на сто граммов. Так что не тушуйся! Перезимует за милую душу . . .

— Где же вы его могли увидеть, если командировка закрытая? — недоверчиво переспрашиваю я.

— А на центральном! Тут кто-то из начальства стал загибаться. Ну, доктора и привезли его откачивать. Потому, говорят, сильно ученый доктор, всех откачивает. И теперь, пока тот легавый не отдышится, доктора вашего, гражданочка, еще не раз привезут на центральный. Так что давай сточи ксиву. Передам, подлец буду, передам! Есть у меня там кореш, санитаром работает . . . Не тушуйся, говорю, гражданочка! А он тебе какой муж-то? Колымский аль материковский?

Пока я пишу, он с любопытством заглядывает мне через плечо. Но я перехитряю его. Расправляясь самым отчаянным образом с артиклями и падежами, я слепляю немецкое послание, полное оптимизма. Еду в Магадан, «форма А» почти в руках, есть письмо от Юли, она уже почти нашла для меня работу в Магадане. Пусть только он бережет себя. Увидимся обязательно.

. . . Окошечко, из которого выдают документы, такое глубокое, что сидящего там человека видишь как будто через перевернутый бинокль. Он долго копается, перелистывая бумаги, мычит что-то нечленораздельное в ответ на мои вопросы о порядке получения паспорта. Потом вдруг четко произносит:

— Руку!

— Что?

— Руку давайте!

Ничего не понимаю. Неужели введен такой гуманный ритуал, чтобы поздравлять освобождающихся пожатием руки?

Я несмело, бочком просовываю в туннель правую ладонь, хотя ей явно не пробиться через такую толщу.

— Десять лет просидели, а порядку не научились! — рявкает чиновник. — Куда тянете руку? Не видите разве? Направо!

Меня заливает краской стыда и гнева. Да, я не заметила, что направо от окошечка стоит столик. За столиком — военный. На столике — вся аппаратура для снятия отпечатков пальцев.

— Поиграй напоследок на пианине, — мрачно острит стоящий в стороне Федька-Чума.

И чему я, дура, удивляюсь! Ведь даже у покойников снимают эти оттиски. Горло перехватывает острый спазм. Свободной себя вообразила! Да просто временно расконвоированная! Навеки, навеки с ними, с тюремщиками! Даже сейчас, после таких десяти лет, им снова нужны отпечатки моих пальцев, чтобы травить и преследовать меня до самой смерти. Так и будешь крутиться в этом треклятом колесе, пока не размелет оно тебя до самых мелких косточек.

Военный, не глядя на меня, прокатывает чистый лист бумаги специальным красящим катком. Потом привычными движениями прижимает каждой мой палец к бумаге.

Недаром блатари называют этот процесс «играть на пианине» . . . Пальцы становятся черными и липкими.

— А где же теперь руки вымыть? — спрашиваю я, не в силах сдержать раздражение. Военный равнодушно пожимает плечами.

И вот она у меня в руках, долгожданная «форма А». В перепачканных черных моих пальцах. Я держу ее осторожно за краешек и читаю. Бумага подтверждает, что я находилась десять лет в исправительно-трудовых лагерях (об одиночной тюрьме — ни слова!) за такие-то и такие-то государственные преступления (член подпольной террористической организации, ставившей себе целью и т. д.) и освобождена из лагеря по отбытии срока наказания с поражением в гражданских правах еще на пять лет. Кроме того, внизу сказано: «При утере не возобновляется». Справа, вместо фотографии, оттиск моего большого пальца.

Завидный документ! Ничего не скажешь, вольная гражданка, перевоспитанная в исправительно-трудовых лагерях и возвращенная в монолитную семью трудящихся.

Выходим из розового домика. Я наклоняюсь над канавкой, и Федька — верный мой водитель — льет мне на руки оставшийся в котелке хлебный квас. Потом дает пропахшую бензином тряпку, и я вытираю руки.

— Поехали! Э-эх, с ветерком! — говорит Федька, нажимая на все педали и в то же время кося на меня свой выпуклый воспаленный глаз. Похоже, что он понимает мое состояние, сочувствует, хочет утешить быстрой ездой, дающей иллюзию свободы, своеволия.

— На семьдесят втором, не доезжая Магадана, кореш у меня есть. На стекольном заводе . . . Второй год, как вольнягой стал. И баба ему попалась — во! Из образованных. Маникюрша. У них привал сделаем. Там искупаешься, ручки дочиста отмоешь, причепуришься. В столицу явись — красючка будешь, на все сто . . .

Его душевная деликатность так велика, что он не замечает моих слез, обильно текущих по пыльным щекам.

— Ну, давай опять романы тискать! — бодро предлагает он. — Что там виконт-то? Ну, Дебаржелон этот самый? Расквитался ли со своими лягавыми? А неохота романы — так давай песню споем . . .

И он затягивает невообразимым, настоянным на чистом спирту голосом: «Дорога-а-я моя столица . . .»

Он имеет в виду не Москву, а Магадан. Он поет так: «Но всегда я привык гордиться, выполняя на двести свой план, дорогая моя столица, золотой ты, ах, мой Магадан!»

— Это кто же так слова переделал?

— Кто, кто? А коль хошь знать, я сам переделал . . .

Вообще-то к сорок седьмому году этот, так сказать, романтический эпитет «столица золотой Колымы» уже прочно вошел в состав большого набора клишированных фраз, которыми пестрела газета «Советская Колыма». Это было, с одной стороны, поэтично, с другой — давало некий намек на производственное лицо края. Потому что прямо упоминать о золотых приисках газете не разрешалось, и в передовицах, посвященных выполнению производственных планов, вместо слов «прииск» и «золото» употреблялись слова «предприятие» и «продукция», позднее — «металл».

Федьке слова о столице нравятся, и на вопросы бесчисленных постовых (по мере приближения к Магадану их становится все больше) он торжественно рапортует: «Машина следует в столицу золотой Колымы». На семьдесят втором километре все оказалось именно так, как сулил Федька. Его кореш со своей образованной маникюршей приняли нас с радушием, которое так часто встречается у людей, долгими годами скитавшихся без своего очага и наконец-то заживших своим домком. Нас потчевали домашними пирогами со свежей морошкой, мне налили полную кадущку горячей воды, и я всласть, неторопливо смыла с себя всю грязь нашей центральной трассы. А когда мой шофер

рассказал хозяевам, как я расстроилась из-за печатанья пальцев, маникюрша воскликнула:

— Да кость им в глотку, чтобы из-за них еще слезы лить! Парь чище руки! Я тебе сейчас на страх врагам еще и маникюр сделаю. Приедешь в Магадан — от полковницы тебя будет не отличить.

... Трасса непосредственно переходит в главную улицу Магадана. Табличка на доме — Колымское шоссе. Я замираю от удивления и восторга. После семи лет таежной глухоманной жизни я въезжаю в почти настоящий всамделишный город. Многоэтажные дома, легковые машины, оживленное движение. По крайней мере мне все видится именно так. Только через несколько недель я заметила, что дома эти можно пересчитать по пальцам. Но сейчас это для меня и впрямь столица.

Загадочно человеческое сердце! Ведь я всей душой проклиная того, кто выдумал строить город в этой вечной мерзлоте, прогревая ее кровью, потом и слезами ни в чем не повинных людей. И в то же время я явно ощущаю какую-то идиотическую гордость... Как он вырос и похоронен за семь лет моего отсутствия, наш Магадан! Просто неузнаваем. Я люблюсь каждым фонарем, каждым куском асфальта и даже афишей, извещающей, что в доме культуры состоится спектакль — оперетта «Принцесса долларов». Наверно потому, что нам дорог каждый кусок нашей жизни, даже самый горький.

Сворачиваем на вторую центральную улицу. Она выглядит еще роскошнее Колымского шоссе и называется, понятно, улицей Сталина. Вот дом номер один, пятиэтажный, каменный, чуть ли не первый каменный дом в городе. Он построен нашим этапом. Я тоже носила сюда по шатким стропилам мерзлые кирпичи. Неподалеку дом культуры... Выглядит, как настоящий театр... Ну, средняя школа была еще при мне. Но тогда она казалась гигантом на фоне инзкорослых кривых бараков. Теперь она выравнялась, оперлась на соседние новые дома.

— Ну что, какова столица золотой Колымы? — спрашивает Федька-Чума тоном тароватого хозяина.

— Хорошо... Только...

— Чего только-то?

— Да по краям-то все косточки русские...

— И-и-и... Про это ты меня спроси! Ты еще в Москве чимчиковала по бульварчикам, а я уж тут мантулил. Все видал. Русские, говоришь, косточки? А вот и нет, не одни русские! Всяких полно. Так сказать, сердечная дружба народов...

И наклоняясь к моему уху, добавляет:

— Своих ведь и то не миловал! Кацо этих, генацвале, тут тоже полегло, дай Боже...

Юлина улица называется Старый Сангородок. Здесь уже ничто не напоминает двух центральных магистралей, по которым мы только что проехали. Здесь прежний, старый, кривобарачный, немощный Магадан. Я узнаю его. Это тот самый квартал, где прежде была больница заключенных, где я отлеживалась полумертвая после морского этапа. Теперь все эти бараки превращены в жилые корпуса, на них прибиты таблички с номерами. Вот и Юлин номер.

Полутемный грязный коридор дверей на двадцать. У каждой двери — кучи тряпья, ящики, помойные ведра, метелки. Оглушительный чад от подгорелого постного масла.

— Эй, люди! — громко взывает Федька.

И сейчас же почти из каждой двери головы:

— Кого вам?

Юлю знают все. Заочно знают и меня. Как же, наказывала: «Бегите за

мной сразу, как придет!» На работе Юля. А работа-то рядом. Вон прямо-то вывеска «Мастерская коммунхоза».

Федька бросается за Юлей. Хочет быть благим вестником, хочет сдать меня с рук на руки, чтобы можно было при случае доложить Вальтеру.

Юлька вбегает с шумом, с возгласами, с раскрытыми объятиями. С места в карьер отдается воспоминаниям.

— А помнишь — в Ярославке? Думали ли мы, что доживем до такого дня? Как мечтали свободно пройти по улице! Вот сегодня же пойдем в кино. Билеты уже есть . . . А помнишь, как хотелось съесть чего-нибудь овощного? Пойдем скорей в комнату, я борща наварила.

Юлька в своем репертуаре! Верный мой Пятница, неиссякаемый Оптимистенко . . .

— Пусть же лавины свои вновь прольет на народы Везувий, ты на вершине его все ж посолишь огурцы, — смеясь, вспоминаю я свои тюремные гекзаметры.

Федька-Чума растроганно улыбается.

— Ишь, свиделися, красючки! Сколь годов не видались-то?

— Восемь! — дружно отвечаем мы.

Да, с того дня, как «Джурма» увезла меня на Колыму, а большую Юльку отставили от этапа и она пошла потом по другим, не по моим, точкам . . . Миновал ее Эльген. Была она на Сусмане и еще где-то. Потом попала в золотую столицу. До меня доходили слухи, что Юля организовала в Магадане какой-то цех с фантастической продукцией, нечто вроде конторы по заготовке рогов и копыт. Но так или иначе многие заключенные и бывшие зэка находили в этом цехе спасение от смертельных наружных работ, от стужи и голода. Немало людей спасла моя предприимчивая Юлька.

Сейчас, ведя меня по коридору к своей двери, она уже успела разъяснить мне, что предприятие именуется «утильцех», что она добывает с других производств разные отходы и мастерит всякую мелочь: игрушки, абажуры, коврики.

— А вице-председателем у тебя кто?

Юлька хитро подмигивает, давая понять, что все в порядке. Дверь в свою комнату она распахивает таким королевским жестом, точно я должна быть потрясена видом раскрывшейся передо мной роскоши. При этом она произносит ужасно торжественные слова. Я, мол, должна чувствовать себя такой же, как она сама, хозяйкой всего этого великолепия.

В узенькой семиметровой клетушке уже поставлена для меня раскладушка, а стол накрыт выглаженной белой тряпкой (утильцех!), и на нем все приготовлено к трапезе. Какое счастье приехать туда, где тебя так заботливо ждали!

Мы хлебаем втроем борщ, густой до того, что ложка в нем стоит, наперченный так, что даже Федька от него чихает. После обеда мой верный водитель сразу начинает прощаться. Ему надо за грузом для пищекомбината. Мне жалко с ним расставаться. Пожалуй, впервые за десять лет встретила бластного волка (бывшего, правда!), в котором не умер человек.

После его ухода мы с Юлей садимся в те самые позы, в каких обычно сживали в Ярославской одиночке: каждая на своей койке, друг против друга. И, так же как тогда, говорим обо всем сразу. За восемь лет лагерных скитаний у каждой накопился целый ворох больших мучений и крохотных удач, героической обороны от наступающей Смерти и чудесных спасений.

Замечаю, что о чем бы ни зашла речь, Юля обязательно сводит разговор на свой цех. Вот чудеса! Да ведь она по-настоящему живет этой рабо-

той! И не только тем, что благодаря этому цеху ей удается помогать людям, спасать от гибели многих людей, сильных духовно, но немощных физически. Нет, как ни странно, но Юльку вдохновляет и сама эта, казалось бы, дурацкая работенка. Ей нравится проявлять хозяйственную инициативу, добиваться эффекта в почти безнадежных положениях, перехитрить наших хозяев и, сохраняя почтительный тон, оставлять их в дураках. Короче говоря, дух предпринимательства и частной инициативы, генетически запрограммированный в Юльке ее предками — оборотистыми волжскими торговцами, вдруг проснулся здесь, в этих непредвиденных условиях.

Грешница, я люблюсь Юлькой в ее новой магаданской роли Вассы Железновой и мысленно сравниваю ее теперешнее оживление, бурную энергичность, высокий жизненный тонус с тем унылым видом, какой она имела в последний год перед арестом, в университете. Теперь она смела, иронична, ее речи брызжут веселым лукавством. А тогда ее несчастные бакалавры дошли со скуки, пока она разжевывала им очередную дозу философской ортодоксии, опасаясь каждого вымолвленного словечка, с испугом озираясь вокруг себя. Ведь со всех сторон подстерегали ее ехидны меньшевистующего идеализма, гиены плоского механицизма и змеи ползучего эмпиризма.

. . . Весь вечер мы гуляем по главной улице Магадана, нашего золотого города. Юля показывает и объясняет мне все, минутами впадая в покровительственный тон столичной жительницы, принимающей кузину из глухой провинции. Я не обижаюсь. Ведь я и впрямь одичала за семь лет в тайге. На каждом шагу делаю ошибки: то не в ту очередь встала, то не в тот ряд села . . . Юльке хочется, чтобы я восторгалась всем, и она даже огорчается, что я не проявляю достаточного энтузиазма в кино, где нам показывают нечто весьма невразумительное про шпионов.

На улице мне куда интереснее, чем в кино. В этот летний вечер по улице Сталина прогуливается весь магаданский бомонд. Главные хозяева жизни курсируют почему-то только по правой стороне — от дома культуры до поворота на Колымское шоссе.

По календарю — июль, но воздух остро прохладен, дует колкий пронизывающий ветер с моря. При этой погоде все сильные мира сего одеты, как в униформу, в серый габардин. Топорчатся ватные плечи. Они придают осанке заметное величие, делая мужчин похожими на свергнутый памятник Александру III в Ленинграде. Что касается дам, то они, из-за неумеренного пристрастия к меху черно-бурой лисы, напоминают мне картинку из немецкой хрестоматии, где изображен охотник, увешанный шкурками убитых лисиц. Под охотником подпись: дер егер.

Те, кто прогуливается по левой стороне улицы, — от школы до угла, — лишены репутатбельности и единообразия правосторонних. Другой классовый состав. Здесь незнатные договорники, так сказать, разночинцы, бухгалтеры, техники с авторемонтного завода, медсестры-комсомолки. В общем — мелкая сошка. Порой мелькают даже бывшие эзка. Те, которые уже подкормились, приоделись. Но все равно я их безошибочно узнаю по преувеличенной развязности движений, по тому, как они время от времени все-таки втягивают голову в плечи. Непривычно еще им прогуливаться по главной городской магистрали.

В одном из больших окон каменного дома — квартиры начальства — я вдруг вижу свое отражение. Ну и вид! Дернула же меня нелегкая еще обить телогрейку у ворота этой драной кошкой! За версту видать вечерашнюю каторжанку. Ну и черт с ними! Пусть душатся своими чернобурками, а мы и с кошкой проживем!

Юля читает мои мысли.

— Вообще-то наплевать, конечно, но в таком виде тебя никто на работу не возьмет. Так что завтра с утра — первым делом на барахолку. Пальто тебе купим . . .

Вдруг до меня долетает какая-то странная мелодия. Хоровое пение. Давно знакомая песня звучит как-то непривычно. Оглядываюсь. По мостовой стройными рядами, военным маршем, движутся колонны низкорослых мужчин в необычной одежде — не то военная, не то лагерная. Со всех сторон их конвоируют наши солдаты с винтовками наперевес.

— Плененные японцы, — объясняет Юля, — очень хорошо работают. Уже несколько больших домов построили. Сейчас достраивают новый кинотеатр. А поют-то что, слышишь? «По долинам и по взгорьям . . .»

Юля смеется и рассказывает, что японские офицеры иногда ходят по городу в одиночку и занимаются отхожим промыслом: торгуют теплыми варежками и носками, которые искусно вяжут сами. Где достают такую отличную шерсть — не поймешь. Наверно, какие-нибудь свои шерстяные кальсоны распускают. Один даже приходил к Юле в цех, предлагал свою продукцию и очень забавно высказывался по-русски насчет магаданского быта. «Японская салдата идет — русская салдата охраняет — моя понимаю: война! Русская мадама идет — русская салдата охраняет — моя не понимаю». Это так он отреагировал на многочисленные женские этапы, бредущие по улицам нашей столицы, все прибывающие и прибывающие морскими транспортами, точно неисчерпаемо количество преступниц в наших городах и селах.

Да, много нового в Магадане за семь лет моего отсутствия, но основное незбылемо — этапы идут и идут.

Некоторые уличные сцены волнуют меня почти до слез. Например, подростки и старики. Их не было здесь раньше. В тайге их нет и до сих пор. По крайней мере я уже десять лет не видела ни тех, ни других. Из заключенных до старости никто не доживает. А начальство раньше не привозило в такой край своих родителей. Дети на Колыме раньше были только те, что родились уже здесь. Подростков почти не было. А вот сейчас в колымский центр уже навезли подросших ребят с материка.

Жадно вглядываюсь в каждого мальчугана-школьника, сопоставляю его со своими сыновьями. Вот этому, наверно, уже четырнадцать. Таким я Алешу уже не видала. Да и Васе сейчас уже пятнадцать. И я не могу себе представить, как он выглядит.

А вот старушка ведет за руку девочку. Какая приятная старушка, круглолицая, опрятная! Как наша няня Фима. И девочка на нее похожа. Наверно, бабушка и внучка. Когда я видела такое? В каких снах?

Еще умиляют меня собаки. В тайге я было возненавидела весь собачий род. Там одни немецкие овчарки — верные слуги тюремщиков. Лютые наши враги. И как-то забылось, что на свете живут еще веселые безобидные дворняги, чудаковатые таксы, кокетливые болонки. Я радостно смеюсь, когда у дверей Юлиного барака нас приветствует хриплым лаем Юлин цеховой сторож Кабысдох, потомственный безродный дворняга. Пес, не рвущий вас за горло, а добродушно виляющий хвостом. Право же, в этом есть что-то человеческое. И он, бедняга, так же мало повинен в злодеяниях своих родственников, несущих службу у колючей проволоки, как мы — двуногие дворняжки — в волчьих повадках двуногих овчарок. Я треплю Кабысдоха по свалывшейся шерсти и внутренне примиряюсь с собачьим родом.

— Ох, а за хлебом-то и забыли, — спохватывается Юля, и мы сворачиваем в так называемый первый магазин.

Хлеб выдается по карточкам. На простых полках — пачки кофе «Здоровье». На стенах — красочные плакаты. На них — румяные окорока,

брусью сливочного масла, головы голландского сыра. И надпись: «К 1950 году на душу населения будет приходиться столько-то мяса, масла, сахара».

Меня охватывает неловкость. Что же это я? На Юлькину пайку приехала?

— Ах да, у меня пироги есть, — радостно вспоминаю я дар, полученный от манньюриши с семьдесят второго километра. — Хорошие, из сеяной муки . . .

— Вот, видела нашу торговлишку? — огорченно говорит Юля и добавляет: — А у тех-то, у габардиновых, заметила, какие ряски?

— Так ведь у них закрытые распределители . . . Смотри, а водки полно!

— Это не водка. Ее ввозить сюда нерентабельно. Это чистый спирт. И хлещут его тут почти неразведенным.

На улице, у магазина, как трупы валяются пьяные. Среди них немало женщин.

Я вдруг чувствую какую-то непомерную усталость.

— Пойдем домой, Юль! Я что-то уже сыта магаданскими пейзажами по горло . . .

У бани, где по-прежнему, как в наши времена, расположен санпропускник для заключенных, наталкиваемся на огромный, только что прибывший с корабля мужской этап. Люди сидят прямо на мостовой, на корточках, окруженные конвоем и овчарками. Точно и не проходили эти семь лет. Все та же она, золотая моя столица. Принарядилась снаружи, намагникурила окровавленные пальцы, напялила чернубурки на ожиревшие шеи. А по существу — все та же . . .

И меня обжигает непереносимым стыдом за ту идиотическую гордость, которую я испытала при въезде в город, залюбовавшись многоэтажными домами и афишами оперетты.

Что уж говорить о тех, кто не имеет нашего опыта! Как легко, наверное, втереть им очки, если даже нам, все знающим изнутри, порой застит глаза помпезными фасадами этих новостроек . . .

Часа в три ночи Юлька вдруг проснулась, зажгла свет и внимательно посмотрела на меня.

— Так и знала. Лежит с открытыми глазами и мировой скорби предается. Ну и характерец! Погоди, я тебе сейчас верональчику дам, сразу заснешь . . .

Веронал помогает. Понемногу я засыпаю. Во сне вижу Федьку-Чуму, крутящего руль, и слышу его песню. Патристически-блатную песню: «Но всегда я привык гордиться, выполняя на двести свой план, дорогая моя столица, золотой ты, ах, мой Магадан».

Глава четвертая

ТРУДЫ ПРАВЕДНЫЕ

Юля припасла для меня место в своем цехе. Уже все согласовала с начальством, а это было совсем не так просто при моих-то документах. И Юля очень горда, что вот я приехала в Магадан на все готовое: и жилье, и работу — все она мне обеспечила.

Поэтому я долго не решалась даже заикнуться Юльке, что совсем мне не улыбается перспектива целыми днями гнуть спину в пыльном полуподвале, превращая крашеную стрептоцидом марлю в роскошные абажуры для колымских идилических домашних очагов.

Я вынашивала другую, почти неосуществимую мечту — снова попасть

на работу с детьми. Почему? Да потому, что это было убежище, неповторимое убежище от колымской туфты, от всепроникающего духа уголовщины, даже в какой-то мере от унижений. Ведь дети были теми единственными людьми, которым не было никакого дела до того, что там обо мне написано в моем личном деле. Они отвечали только на мое отношение к себе. Кроме того, при всей казенщине, царившей в детских учреждениях, они все-таки в какой-то мере противостояли окружающему тюремно-лагерному миру. Плохо ли, хорошо ли, но здесь вместо целей мучительства и уничтожения людей ставилась цель их вскармливания и выращивания.

И еще одно было. Тайное от всех, даже от Антона. Даже плохо формулируемое для себя самой. Почему-то, когда я была среди детей, несколько смягчалась моя неотступная раздирающая боль об Алеше. Нет, совсем не так обоснованно и последовательно по-христиански, как это получалось у Антона, когда он говорил мне: «Сделай то-то и то-то для такого-то больного. Ради Алеши». Просто то, что я делала в детском саду, как бы возвращало меня к другому, к тому, что было так беспощадно оборвано в тридцать седьмом. Даже повторяемость и механичность элементарных повседневных забот давали какую-то обманчивую компенсацию моему поруганному и растоптанному материнству.

Я понимала, что надежды на получение работы в детском учреждении очень мало. Юля уже подробно объяснила мне, что в столице Колымы не может быть таких патриархальных нравов, как в глубине тайги, где природная доброта таких людей из администрации, как Тимошкин или Казак Мамай, перебарывает иногда бесчеловечные статьи и пункты. Здесь отделы кадров почище, чем на материке, — объясняла Юля.

А я все-таки решила с утра сбегать в сануправление, ведавшее детскими учреждениями, и дерзко предложить свои услуги. А вдруг отличная характеристика, данная на прощанье тасканским начальством, перетянет мои статьи и сроки. И даже красные полосы на личном деле . . .

Но сказать об этих замыслах Юле — значит, проявить черную неблагодарность.

Неожиданное происшествие облегчило мою задачу. Было еще совсем темно, рассвет едва занялся, когда раздался робкий отрывистый стук в нашу дверь. Это оказалась Елена Михайловна Тагер, знакомая нам по этапам и лагерям.

— Что случилось? Почему так рано?

— Освободилась! — потрясенным голосом ответила наша гостья и обессиленно опустилась на табуретку. Мы начали было поздравлять, но вдруг заметили, что Елене совсем плохо. После ландышевых капель и холодного компресса на голову мы узнали, наконец, в чем дело.

— Друзья мои, милые друзья . . . Не удивляйтесь тому, что я сейчас скажу. И не возражайте . . . Это ужасно, но это факт. Дело в том, что я . . . Я не смогу жить на воле. Я . . . Я хотела бы остаться в лагере!

Елена Михайловна действительно могла считать нас своими друзьями. Правда, по возрасту она была ближе к поколению наших родителей, чем к нам. Да и не видели мы ее уже несколько лет. Но на разных этапах тюремно-лагерного маршрута наши пути пересекались, и тогда мы общались с ней очень глубоко и сокровенно.

Ленинградский литератор, человек высокого строя души и редкостной житейской беспомощности, она всегда нуждалась в опекунах. И многие из нас, тогдашних молодых, с радостью опекали ее. А она оказывала нам куда более неоценимую услугу: своими беседами она поддерживала в нас едва теплившуюся жизнь духа. Где-нибудь на верхних нарах до глубокой ночи рассказывала она нам о своих встречах с Блоком,

с Ахматовой, с Мандельштамом. А с утра мы буквально за руку ее водили, втолковывая, как ребенку, где сушить чуни, куда прятать от обысков запрещенные вещи, как отбиваться от блатарей.

Много раз Елена Михайловна доходила на мелиорации и на лесоповале. Но вот за последние три года она достигла лагерной тихой пристани. Ее актировали, то есть признали за ней право на легкую работу по возрасту, по болезням. И перед ней открылась вершина лагерного счастья — она стала дневальной в бараке западных украинок. Привыкла к несложным обязанностям, одинаковым изо дня в день. Печку топить, полы подметать. Полюбила девчат. Тем более, что к тому времени все родные ее умерли в ленинградскую блокаду. И девчата ее полюбили. Особенно тяжелого делать не давали. Дрова сами кололи, полы мыли. Многие даже стали кликать Елену Михайловну «Мамо» . . .

— Это редкостные девочки . . . Вот уже месяц, как я расписалась в УРЧе и, значит, уже месяц, как пайка на меня не выдается. А я и не почувствовала. Девочки кормят . . .

— Как, уже месяц? Почему же вы до сих пор там?

— А куда же деваться? Ведь за последние три года самый мой длинный рейс был от барака до кипятилки. А этот город . . . Он пустыня для меня. Он наводит ужас . . .

История, поведенная Еленой Михайловной, выглядела так. Дважды за этот месяц она рискнула выйти за зону и поискать себе пристанища в этом непонятном вольном муравейнике, где не дают человеку каждое утро его пайку, где нет у человека своего места на нарах. Ничего не нашла, никого из бывших товарищей по заключению не встретила. Вернулась измученная в лагерь. Вахтер по старой памяти пропустил. Девочки отхаживали ее всю ночь, бегали в амбулаторию за ландышевыми каплями. За этот месяц ее уже не раз предупреждали, чтобы она уходила из зоны. «Нельзя вольным в лагере жить . . .» И вот сегодня . . . Впрочем, теперь уже вчера. На поверку пришел сам начальник режима и категорически приказал Елене Михайловне немедленно покинуть лагерь. Девочки плакали, просили оставить их названную мать. Пусть без пайки! Они ее сами прокормят. Елена тоже не сдержала слез. И тут режимник расчувствовался, доказал, что и у него в груди не лягушка, а сердце. Оставить старуху он, конечно, не мог, но зато все объяснил по-хорошему. «Послушайте, гражданка, — сказал он, — вы десять лет жили, правда? Жили. И никто вас не трогал. А почему? Потому что было можно. Вот. А сейчас — все. Нельзя больше. Не положено. Не положено».

Тут-то одна из девочек и подсказала Елене Михайловне Юлин адрес. Слава про Юлин цех, где устраивают на работу в помещении с самыми трудными статьями, широко шла по заключенному миру.

— Все будет в порядке, Елена Михайловна, — заявила Юлька с такой уверенностью, что наша гостья сразу стала смотреть на нее преданным детским взглядом и безропотно выполнять все Юлины распоряжения. Приняла из Юлиных рук все тот же чудодейственный порошок веронала, послушно улеглась на раскладушку и быстро заснула. Во сне она по-детски всхлипывала и охала, а мы с Юлей, лежа теперь уже вдвоем на узкой железной койке, никак не могли больше заснуть, хотя настоящего рассвета все еще не было.

— Помнишь, Женька, твои ярославские стихи «Опасение»?

Подумать только, Юлька до сих пор помнит мои самодельные тюремные стихи!

. . . чтоб в этих сырых стенах,
где нам обломали крылья,

не свыклись мы, постонав,
с инерцией бессилья . . .

— По-моему, Елена Михайловна отойдет . . . Вот увидишь, Юлька, отойдет она.

(К счастью, мои надежды оправдались. Елена Михайловна оправилась от инерции бессилья. Она дожила до реабилитации, вернулась в Ленинград. Она еще успела написать пронзительную книжку о Мандельштаме. Куски этой книжки вошли в предисловие к двухтомнику Мандельштама, изданному в Америке. Умерла Елена Михайловна в начале шестидесятых годов.)

Теперь я могла уступить свое место в знаменитом утильцехе, не боясь обидеть Юлю.

— А ты как же?

— Пойду в сануправление. Попробую посвататься в детский сад.

Юля скептически качает головой.

— Это ты все по-таежному судишь. Там, в стороне от начальства, такое было возможно. А здесь, в столице . . . К тому же сестер этих медицинских как собак нерезанных . . . Не только бывших ээка с легкими статьями, но и комсомолок, договорниц.

Юля была права, как всегда. Но тут вступило в действие мое невероятное счастье. Оно уже не раз прихотливо проявляло себя на путях моих скитаний и выручало из самых безнадежных положений.

Не успела я войти в сануправление — одноэтажное разлапистое здание, выкрашенное все в тот же излюбленный ядовито-розовый цвет, — как сразу в полутемном коридоре натолкнулась на доктора Перцуленко, главврача эльгенской вольной больницы. Под его командой я проработала свои последние полтора месяца в лагере. Приятель Антона.

Он взял меня под руку и напрямиком провел в кабинет начальника детских учреждений. Им оказалась доктор Горбатова, сорокалетняя красивая блондинка с милым усталым взглядом. Перцуленко рекомендовал ей меня в таких выражениях, что пришлось глаза отводить. И такая-то . . .

— А воспитательницей вы не пошли бы? — спросила Горбатова, дружелюбно глядя на меня. — Медсестры у нас в избытке, а вот с педагогами просто беда. Острый недостаток кадров. Не идут. Очень нервная работа. Состав детей у нас специфический.

Пошла ли бы я! Да это предел моих мечтаний. Но я понимала, что иллюзии этих двух добрых вольняшек разобьются в прах при самом беглом взгляде на мои документы. С тяжким вздохом положила я на стол Горбатовой свою «форму А» с отпечатком большого пальца вместо фотографии. Она долго сокрушенно разглядывала ее, но потом, решительно встав, сказала: «Пойду в отдел кадров».

Отдел кадров был рядом, и через тонкую дощатую перегородку мы с Перцуленко различали обрывки диалога Горбатовой с начальником кадров Подушкиным.

— Бу-бу-бу . . . с высшим образованием педагог, — убеждала Горбатова.

— Бу-бу-бу . . . Идеологический фронт . . . Групповой террор . . . — представлял свои резоны начальник кадров.

Наверняка у него белесые брови и пухловатые руки с часами на толстом золотом браслете.

— Бу-бу-бу . . . В третьем саду троих не хватает . . . Хоть временно оформите . . .

— Бу-бу-бу... Если бы хоть не тюрзак! На свою ответственность не могу. К Щербакову? Пожалуйста! Если он прикажет...

Скрипнула дверь, раздалися шаги.

— Это они пошли к начальнику сануправления Щербакову, — прокомментировал Перцуленко и, заметив мой унылый вид, добавил: — Сидите здесь, а я тоже пройду к Щербакову. Мужик умный! Уговорим...

И совершилось очередное чудо. Через полчаса я вышла из розового здания, унося с собой бумажку, в которой говорилось, что я направляюсь на работу воспитательницей в круглосуточный детский сад номер три.

Детские сады в Магадане сорок седьмого года резко различались по своему классовому составу. Был детский сад для детей начальства. Холеных мальчиков и девочек привозили на саночках няни или домработники (мужская прислуга из заключенных была бытовым явлением). Ребенку из семьи бывших эдак вход в этот сад был довольно прочно закрыт. Были и другие детские сады для более демократических слоев магаданского населения.

Зато 3-й детский сад, куда я получила назначение, представлял собой в сущности дошкольный интернат или детский дом. В нем жили только дети бывших заключенных. Многие родились в тюрьме или в лагере, начали свой жизненный путь с эльгенского деткомбината.

Помещался этот 3-й детсад неподалеку от нашего с Юлей дома в двухэтажном деревянном здании барачного типа, выкрашенном все в тот же розовый цвет. Рядом с этим зданием торчала труба котельной. Она пыхла, чадила, извергала копоть прямо на прогулочный дворик, обволакивала лица детей клочьями едкого дыма. Зимой эта труба окрашивала снег прогулочного дворика в черный цвет.

Меня сделали воспитательницей старшей группы. Моим заботам было вручено тридцать восемь детей шести и семи лет. Понадобилось провести с ними всего два часа, чтобы понять, почему сануправление испытывало острый недостаток в педагогах, почему им пришлось прибегнуть даже к услугам такой криминальной личности, как я, террористка, осужденная Военной коллегией.

Это были трудные дети. Тридцать восемь маленьких невропатов, то взвинченных и возбужденных, то подавленно молчаливых. Некоторые из них были болезненно худы, бледны, с синими тенями под глазами. Другие, наоборот, как-то непомерно растолстели от мучнистого безвитаминового питания. Они были трудны и каждый в отдельности и все вместе.

— Состав детей у нас специфический, — повторила слова Горбатовой заведующая детсадом, — я советую вам с самого начала принять с ними совершенно бесстрастный тон. Излишняя строгость и требовательность могут вызвать эксцессы, излишняя мягкость и ласковость сразу распусят их, потом не соберете.

Скорее всего, она была права и основывалась на опыте других воспитателей. Но она не знала, не могла знать, что именно бесстрастное отношение к этим детям для меня невозможно. Потому что я не могла воспринимать их как чужих. Это были подростки эльгенские младенцы, мои спутники по крутому маршруту. Разве я могла быть бесстрастной и педагогически расчетливой (пусть из самых благих побуждений!) с этими маленькими мучениками, познавшими Эльген?

Эти ребята не знали многого, что знают их материковские ровесники. Они были, что называется, недоразвиты. Зато они догадывались о многом (не умея назвать по имени), доступном только старикам. От таких детей можно было отчаянно уставать, на них можно было гневаться, опускать руки в бессилии. Только равнодушной к ним оставаться было нельзя. На-

верное, то чувство, которое я испытывала к ним, нельзя назвать любовью в точном смысле этого слова. Пожалуй, точнее было бы определить его как солидарность, как единокровность что ли . . .

Кроме меня, все воспитательницы были договорницы, многие совсем недавно с материка. Среди них были милые люди, и я была благодарна им за душевный такт, за то, что не подчеркивают моего изгойства. Но дружить с ними я не могла. Они все казались мне больше детьми, чем наши воспитанники. Несмотря на то, что у них за плечами была война, эвакуация, голод, они, кроме этого, ничего не знали. Наивная доверчивость их по отношению к официальной пропаганде была так сильна, что они попросту не верили глазам своим, наблюдая колымские явления жизни. Напечатанное в газете было для них убедительнее увиденного на улице. Почти с религиозным экстазом обучали они детей популярной песне: «Один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин». Во всяком случае, чувства реальности у них было значительно меньше, чем, скажем, у Лиды Чашечкиной, родившейся в Эльгене, уже дважды насильственно разлучавшейся с матерью и переведавшей за свои шесть лет жизни много метров колючей проволоки, десятки собак-овчарок и вахтенных вышек.

Мое радостное возбуждение по поводу высокого назначения сильно снилось после того, как я ознакомилась с программой детских садов, по которой надлежало воспитывать детей. От нас требовалось глубокое изучение этой программы и регулярное составление планов воспитательной работы — квартальных, месячных, недельных, ежедневных. Руководили нами в этом деле методисты из дошкольного методкабинета. Итак, я читала и перечитывала довольно увесистую программу воспитания маленького гражданина нашей страны.

В разделе «Патриотическое воспитание» от педагога требовалось, чтобы он выращивал не только чувство любви к Советской родине, но и чувство ненависти к ее врагам.

По развитию речи надо было изучить стихи «Я маленькая девочка, играю и пою. Я Сталина не видела, но я его люблю».

На музыкальных занятиях, которые вела сама заведующая садом Клавдия Васильевна, разучивали кроме уже упомянутых «Двух соколов» еще несколько песен на ту же неисчерпаемую тему. «Если к нам приедет Сталин . . .» Потом песню юных моряков: «Дорогой товарищ Сталин, пусть пройдет немного дней» . . .

Узнав, что я играю, Клавдия Васильевна обрадовалась, велела мне присматриваться к методике ее занятий. Когда она будет занята административными делами, я смогу иногда заменять ее у инструмента.

Посещение дошкольного методкабинета было обязательным. На первом же семинаре я услышала содержательный доклад методистки Александры Михайловны Шильниковой. Она давала оценку первомайскому утреннику в одном из детских садов и приводила отзывы детей, связанные с этим праздником.

— Мы любим товарища Сталина больше папы и мамы, — так, оказывается, говорили дети. Потом дети кричали хором:

— Пусть товарищ Сталин живет сто лет! Нет, двести! Нет, триста!

А один мальчик Вова оказался настолько политически подкован, что воскликнул:

— Пусть товарищ Сталин живет вечно!

В этом месте методистка Шильникова сделала паузу и взглянула на свою аудиторию победным и вместе с тем растроганным взглядом. Воспитательницы дисциплинированно и торопливо записывали все, что она говорила, в аккуратные общие тетради.

Вот такими непредусмотренными сторонами повернулась вдруг работа

с детьми, которой я так добивалась. За десять лет моего отсутствия в нормальной повседневной жизни все процессы ушли очень далеко: и обожествление бессмертного Отца Народов, и проникновение Его в каждую щелочку, где еще маячила живая жизнь. А главное, стала совершенно непреодолимой проблема СОУЧАСТИЯ в его свершениях. Даже в таком, казалось бы, невинном деле, как выращивание маленьких детей.

Что делать? В первые дни работы у меня часто совсем опускались руки и мелькала мысль: не покаяться ли во всем Юлке и не попроситься ли все-таки в ее знаменитый утильцех? Может быть, за изготовлением пресловутых абажуров меня оставит это невыносимое ощущение вины и соучастия?

Но в это время я заметила, что дети называют меня «Евгеничка Семеновка». И не только в глаза, но и за глаза, когда говорят обо мне в третьем лице и думают, что я не слышу. Это был их способ отличать любимых воспитателей от постылых. Если «Анночка Иваночка» или «Тамарочка Петровначка» — значит, любят. Если «Зойка Андрейка» или «Еленка Василька» — значит, не пришлось им ко двору.

Перед «Евгеничкой Семеновкой» я не устояла. Ведь к этому времени я уже больше десяти лет не видела никого из своей семьи. А тут еще начала делать для них теневой театр «Кота в сапогах». И видела, сколько радости это доставляет им. Успокаивали и частые прогулки на сопку, собрание брусники, оживление детей, когда я читала им Корнея Чуковского, Маршака. Читала, конечно, наизусть. В детсаде такой литературы не было.

Осуждала я себя и за то, что у меня не хватало хладнокровия, умеренности, объективности. У меня появились любимцы, и мне стоило большого труда скрывать это. Например, я сразу выделила из общей массы детей Эдика Климова. Это был якутский мальчик. По крайней мере, мать его была якуткой. Отец, как у большинства этих детей, вообще терялся во мраке неизвестности. Вполне возможно, что Эдик был гибридом, потому что его смышленное румяное лицо с раскосыми монгольскими глазами было по краскам куда светлее, чем лицо его матери. Да и волосы у Эдика были русые. Мать его, отбывшая лагерный срок, как многие якуты, «з а о л е н я» работала теперь шофером грузовика, возила технику на прииски и поражала своей физической силой, неотесанностью всех форм и каменной неподвижностью лица. Она была похожа на изваяние, стоящее на великом монгольском тракте, ведущем ко дворцу богдыхана. К сыну она приходила редко, а придя, степенно садилась в коридоре на стул, развязывала мужской носовой платок, вынимала оттуда леденец или пряник и без улыбки вручала Эдику. На все вопросы, которыми он ее засыпал, она громко откашливалась и так же степенно отвечала: «Будешь большой — узнаешь». И снова застывала в неподвижности.

А Эдику не хотелось ждать, пока он будет большой. Его узенькие глаза просто искры метали от любопытства.

— А кто строил этот дом? — спросил он, когда мы во время прогулки проходили мимо только что выстроенного кинотеатра «Горняк».

— Ну, тут понадобились люди разных профессий: и каменщики, и кровельщики, и монтажники, и столяры . . .

— Да я не про это, — досадливо отмахнулся Эдик, — я спрашиваю, кто строил: экашки или япошки?

Исчерпывающий ответ он получил от переростка Володи Радкина. Тому было уже за семь, и он успел всякие виды повидать, потому что по воскресеньям его брала к себе мама, хриплая пожилая блатнячка, перековавшаяся на продавщицу в продуктовом ларьке.

— Разве экашки могут такое кино отгрохать, — снисходительно ска-

зал Володя, — на баланде-то! А япшки сытые . . . Им от пуза дают. Ну да и работать они здоровы.

Цепкий глаз Эдика то и дело падал на разнообразные явления окружающего его мира и улавливал то и дело противоречия, требующие выяснений.

— А это кто?

Это он про портрет Энгельса, сверкающий красными лентами и огнями электроламп. Ясно, что спрашивает неспроста.

— Про кого ты?

Это я, чтобы выиграть время.

— Да вот второй-то. Первый — Маркс, третий — Ленин, четвертый — Сталин. А вот этого, второго, я забыл.

— Энгельс . . .

— А он . . . А он . . .

Эдик мнется, не зная, как выразиться поделикатнее. Что-то он слышал неважное про Энгельса. И никак не может связать это с лентами и лампочками.

— А он . . . Русский?

— Гм . . . Он из Западной Европы . . .

Эдик догадывается, что я тоже избегаю произнести ругательное, неприличное слово «немец» по отношению к человеку, чей портрет висит рядом с Лениным и Сталиным. Но успокоиться, не докопавшись, в чем же тут дело, не может . . .

— А бывают разве такие немцы, что за нас? Энгельс, он ведь за нас, да?

— Безусловно. Он определенно за нас.

Тяжелый вздох. Нет, мучительный вопрос так и не решен.

— Евгеничка Семеночка! Наклонитесь, я вас на ухо спрошу.

Он обнимает меня за шею своими еще младенчески пухлыми руками и горячо шепчет прямо в ухо.

— А Володька на Энгельса глупости сказал . . . Что будто он немец. Не надо глупости повторять, да? Ведь мы всех немцев убили, правда? А Энгельс за нас, значит он русский, да?

Моя сменщица Анна Ивановна, отличная воспитательница, любящая детей, все-таки посоветовала мне:

— Вы не очень-то с этим Эдиком Климовым в беседы вступайте! Всю душу вымотает. Да и сам выскочкой станет.

Но я была уверена, что он не станет выскочкой, что все вопросы, которые он задает, интересуют его по существу. Он не красовался, не затирал других. Просто человек хотел определить свое отношение к жизни, к различным ее сторонам. Шестилетний человек стремился к гармонии и не мог успокоиться, когда видел что-то не укладывающееся в тот разумный мир, который рисовали ему воспитатели.

Однажды мы гуляли в нашем засыпанном копотью дворике. А рядом, на улице, пленные японцы копали какие-то каналы. Эдик высоко подбросил оловянного солдатика. Тот перелетел через забор и скрылся на дне глубокой канавы. Молодой верткий японец легко прыгнул в канаву и протянул Эдику через рейки забора спасенного солдатика.

— Скажи дяде спасибо, — посоветовала я.

— А он не дядя. Он япшка.

— Японец. Но ведь и у японцев бывают мужчины и женщины. А раз он не тетя, значит — дядя.

Под ударами этой неотразимой логики Эдик сначала призадумывается.

— А он с нашими воевал . . .

— Правильно! Но в этом были виноваты его командиры. Ему приказывали, и он побоялся не послушаться. А сам-то он скорее всего не хотел воевать. У него дома такой же мальчик, как ты, и ему жалко было с ним расставаться.

Эдик поколебался еще немного, потом влез на перекладину забора и закричал:

— Дядя! Дядя японец! Спасибо тебе, что ты моего солдатика спас. А другой раз ты своего командира не слушай и с нами не воюй! Лучше поезжай домой к своему мальчику!

Пленный понял ходовое слово «Спасибо». Он подошел вплотную к забору, часто-часто заговорил по-японски, показывая большие желтые зубы. Потом просунул руку между рейками и робко погладил Эдика по рукаву.

— Ты, наверно, похож на его мальчика, — сказала я и вдруг заметила, что и впрямь — раскосые азиатские глаза Эдика точь-в-точь такие же, как у пленного японского солдата.

Во время вечернего дежурства я должна была находиться в спальне, пока дети не заснут. Надо было тихонько бродить в тапочках по комнате, следить, чтобы дети не болтали после звонка на сон, чтобы правильно лежали подушки, а руки были поверх одеяла. Я полюбила этот вечерний час. В постелях они сразу становились обычными ребятишками, их жестокий жизненный опыт отходил куда-то в сторону. Раздавались полусонные вздохи, кто-нибудь еще раз — уже в третий или четвертый — говорил «Спокойной ночи» . . . Эти тихие минуты возвращали к далекому, навеки утраченному. И я, нарушая все у с т а н о в к и методкабинета, гладила то одного, то другого по голове, говорила: «Спи, деточка . . .»

Многие из них никогда не слышали такого обращения к себе, и оно действовало гипнотически даже на самых отчаянных озорников. В этом материнском обращении они улавливали отблеск какого-то иного, не знакомого им мира. Они затихали, иногда прижимались на минутку щекой к моей руке и потом спокойно засыпали.

Мне всегда очень хотелось присесть на кровать к Эдику, поцеловать его на ночь. И было очень жалко, что этого делать нельзя. Но он, хитрец, догадался. Выждав, когда большинство ребят заснет, он садился на кровати и шепотом говорил:

— А у меня горло болит . . .

Он знал, что при жалобе на болезнь воспитательница обязана подойти. И когда я, подоткнув одеяло, присаживалась на краешек кровати, он со смехом шептал мне прямо в ухо:

— Это я понарошке . . . Ничего не болит . . . Я просто хотел вас спросить . . .

Дальше шли бесчисленные, почти всегда замысловатые для ответа «почему?» и «отчего?»: Он был чертовски наблюдателен, этот малыш! Ему не давало покоя расхождение между теми правилами, которые прививаются в детском саду, и тем, что он видит в жизни.

— А воспитательницы всегда говорят, что садиться на землю нельзя, можно простудиться и испачкаться . . .

— Да, конечно, — отвечаю я, уже смутно чувствуя стоящий за невинной фразой подвох. И не ошибаюсь. А как же вот, Эдик сам видел на улице, как конвой кричал эзкашам из нового этапа: «Садись!», и все садилось прямо на землю. А еще как раз дождик перед этим шел. И некоторые эзкашки прямо в лужи плюхнулись. Ведь они простудятся? Ведь это плохой конвой, да?

Чаще всего я уклонялась от ответов на такие вопросы. Переводила разговор на другие темы. Помнит ли, например, Эдик, что вчера он спраши-

вал меня, какие деревья растут в Африке и можно ли научить обезьяну разговаривать, если очень долго и старательно с ней заниматься . . . Иногда моя хитрость удавалась, мысли мальчишки перескакивали на другой предмет. Но тут он настаивал.

— Это был плохой конвой, да?

И я не выдержала.

— Да уж, конечно, хороший человек не будет сажать других людей на холодную землю, прямо в лужи. Конечно, могут простудиться . . . А самое главное — ведь это очень обидно людям. А теперь спи, не спрашивай больше!

Обхожу еще раз полутемную спальню. Что я наделала! Завтра же он повторит где-нибудь мои слова . . .

И в дополнение к первому ляпсусу делаю второй, еще более запретный. Подхожу к Эдику и совсем тихо прошу его:

— Никому не рассказывай об этом нашем разговоре. Ладно?

— Конечно! Что ж я, глупый, что ли? — восклицает Эдик с интонациями тридцатилетнего . . .

. . . А методкабинет продолжал неуклонно продвигаться вперед по своему плану повышения квалификации педагогов. Мы прорабатывали тему за темой, проводили «обмен опытом». Каждое такое занятие лишний раз доказывало мне, каким анахронизмом являюсь я, человек тридцатых годов, среди новых людей и нравов. На примере крохотного мирка дошкольной педагогики я с ужасом убеждалась, как далеко мы продвинулись в искусстве лжи и фальсификации за десять лет моего отсутствия.

Запомнилась особенно тема «Творческие игры». Между полдником и ужином отводился час на так называемые творческие игры. Детям предоставлялась свобода играть во что и как хотят, а воспитатели, сидя в стороне, должны были только утихомиривать, регулировать пользование общими игрушками, а главное — потом писать в графе «Учет», во что играли дети и как проявлялись в их играх чувства советского патриотизма, ненависти к врагам и прочее . . .

В порядке «обмена опытом» я была направлена в группу Елены Васильевны, официально признанной лучшим педагогом детсада. Все восхищались ее умением добиваться тишины и полного послушания. Меня интриговало, почему же при всем том дети зовут ее за глаза Еленка Василька.

Действительно, боялись ее они здорово. Поэтому творческие игры велись шепотом. Но я все-таки различила, что играют они в баню. Городская баня, только что переоборудованная из части старого санпропускника, была одним из семи магаданских чудес и очень высоко котировалась у населения.

В детсаду детей мыли в тазах, страшно экономя воду, которую надо было таскать со двора. Поэтому дети, которых матери брали по субботам домой и водили в баню, надолго оставались под впечатлением горячих кранов, душей и хлебного кваса в предбаннике.

Девочки, исполнявшие роль мам, деловито мылили воображаемым мылом своих дочек, натуралистически поддавая им часто шлепки, наливали воду в тазы, изображали шипение кипятка и при этом, увлекаясь, переходили иногда с шепота на громкий спор.

— А мы всегда ходим в баню. Потому что там наша тетя Зина кассиршей.

— И врешь! Как тетя Зина может быть кассиршей! Она экашка! А в кассы только вольняшек берут.

— И нет! Тетю Зину везде возьмут. Потому что у нее дядя Федя на вахте . . .

Елена Васильевна, польщенная тем, что я пришла переписать план, протянула мне свою идеально разлинованную тетрадь для плана и учета воспитательной работы.

— Вот прочтите, как надо записывать творческие игры. На этой странице записана сегодняшняя.

— Как? Уже? Да ведь они еще играют!

— А я никогда не запускаю учет. Пишу его с утра, вместе с планом.

В графе «план» за сегодняшнее число значилось: «С 5 часов до шести часов пятнадцати минут — творческие игры по инициативе детей». В графе «Учет» тем же каллиграфическим почерком было написано: «Сегодня дети играли в военный госпиталь. Мальчики изображали раненых, девочки — медсестер. Девочки бинтовали мальчикам раны (использован подготовленный воспитателем игровой материал) и говорили, что врачи — их защитники и спасли родину от немецких захватчиков, а мальчики отвечали, что они служат Советскому Союзу».

— Поняли, как надо писать «учет»? — с той же милой снисходительностью спросила меня Елена Васильевна.

О да, поняла вполне. Елена Васильевна хотела объяснить мне еще что-то, но в это время ребята, изображавшие купанье под душем, слишком расфыркались и расчихикались. И Елена Васильевна произнесла тихим леденящим голосом:

— Котов, встань к столу! Дорофеева, подойди ко мне! Резниченко, выйди за дверь!

Сразу воцарилась мертвая тишина. Елена Васильевна взглянула на часы.

— Шесть пятнадцать . . . Группа, строиться парами!

Ребята моей группы тоже часто играли в баню, в 1-й магазин (причем некоторые очень похоже изображали пьяных, валяющихся у дверей этого магазина). Играли, конечно, в музыкальное занятие, в школу, в магаданский парк культуры и отдыха, где детей больше всего привлекала клетка с медведями. Бурого Мишку и белую медведицу Юльку колымские пьяницы спаивали, принося им разведенный спирт в бутылках и потешаясь тем, что он пришелся медведям по вкусу. Первый раз, когда я подвела ребят к этой клетке, меня просто сразил вопрос, заданный кем-то из детей: «А почему медведям нельзя пить шампанское?» Потом оказалось, что на клетке висит объявление администрации, не сразу замеченное мной: «Приносить медведям шампанское строго воспрещается».

Я бывала очень довольна, когда дети в своих играх обращались к тем персонажам, о которых узнали от меня, когда они играли в Мойдодыра, в храброго Ваню Васильчикова, в ленинградского почтальона.

Однажды играли в «Кем быть». Разыгрались очень весело. Все кричало: «А летчиком лучше!» Всем хотелось быть летчиками, которых они знали здесь, в Магадане, как самых главных героев. Ведь именно летчики отвозили людей на сказочный «материк».

И вдруг сумрачная Лида Чашечкина провозгласила:

— А я, когда вырасту, буду Никишовым. Все меня будут бояться . . .

Имя начальника Дальстроя Никишова было им всем известно. На прогулке, проходя мимо большого квартала, обнесенного высоким забором, охраняемого часовыми, дети обязательно объясняли мне, что тут живет сам Никишов.

— Как ты можешь быть Никишовым, если ты девчонка! — это Эдик Климов отреагировал на Лидино дерзкое самозванство.

— И буду! — настаивала Лида.

— Нет, не будешь, — отрезал Эдик, но так как у него было доброе сердце, добавил: — В крайнем случае, ты можешь стать товарищем Гридасовой.

Александра Романовна Гридасова была молодая и красивая жена старого генерала Никншова. Ради нее он оставил свою прежнюю семью, пережил некоторые неприятности в Москве, но зато теперь именно эта красотка жила с ним в отгороженном высоким забором доме. Те зэкашки, которым посчастливилось попасть в штат некоронованной колымской королевы, вечно рассказывали разные истории о ларцах с драгоценностями, о пышных пиршествах, о том, что у Александры Романовны больше платьев, чем у покойной императрицы Елизаветы Петровны.

Все эти, и многие другие, разговоры доходили до детей. Мамаши, забирая их на воскресенье из стерильной жизни под руководством методкабинета, велн их не только в общежития, но и в шалманы, где жнлн сами. И уже многие дети, кто был поумней нли посостеливей, вроде Эдика, начинали догадываться о какой-то большой лжи.

С каждым днем становилось труднее решать, что и как говорить детям, как согласовать сведения, идущие из методкабннета, с картинками магаданской улицы. Как умудриться в этих условиях привить им хоть крохи человечности, научить отличать плохое от хорошего.

Моя Юля прнмечала, что со мной не все ладно, и время от времени возобновляла свое приглашение в утнльцех.

— Ну как твои труды праведные? — спрашивала она, вглядываясь в мое лицо по вечерам. — Каждый день мясной суп ешь, а что-то все худеешь . . . А мы сейчас с абажуров на носовые платки перешли. Мережим и обвязываем . . . Может, соблазнишься?

Но прн одной мысли о расставании с ребятами мне становилось тошно. Может быть, попроситься в младшую группу, к трехлеткам? Все равно, и там раздел «Патриотическое воспитание» с подразделом «воспитание ненависти к врагам» . . .

И я отшучивалась от Юлиных расспросов, но все хуже и хуже спала по ночам, Грызли меня, конечно, и личные мои боли. Но немалую роль в этой бессоннице играли и мон теперешние труды праведные, мон колымские педагогические проблемы, которые наверняка не могли прийти на ум ни Ушинскому, ни Песталоцци, ни Яну Амосу Коменскому.

Глаза лятая

ВРЕМЕННО РАСКОНВОИРОВАННЫЕ

Почти каждый день я встречала на улицах Магадана знакомых. По Казани и Москве. По Бутыркам и Лефортову. По Эльгену и Таскану.

В сорок седьмом многим жителям нашего гулаговского царства, несмотря на все ограничения и задержки с освобождением, удалось все-таки выйти за лагерную зону, заполучить «форму А» и таким образом перейти из класса рабов в класс вольноотпущенников. Многие устремились в Магадан. Для одних это был трамплин к возвращению на материк, для других — место, где можно устроиться на лучшую работу и вырваться из таежной дикости.

Встречи со старыми знакомыми радовали и одновременно ранили. Радовали потому, что это было живое воплощение моего прошлого. Самим фактом своего существования эти люди отвечали на вопрос «Да был ли мальчик-то?» Да, да, он был! Были и материк, и университет, и семья, и друзья. Были книги, концерты, мысли, споры . . . Вот я стою и

разговариваю с человеком, знавшим моих родителей. А эта женщина была со мной вместе в аспирантуре. Ведь они-то уж доподлинно знают, что я не родилась на нарах и что не всегда к моей фамилии добавлялось звериное слово «тюрзак».

Но как беспощадно изменились все их лица! Обломки крушения. Щепки, гонимые неодолимым злым ветром все дальше по направлению к последней пропасти.

Никто не выглядел старым. Большинству из тех, кто вышел живым из этого десятилетия, было сейчас или около сорока или чуть за сорок. Не возраст искажил их лица, а то нечеловеческое, через что прошел каждый. Всматриваюсь в своих старых знакомых тревожно и пристрастно. Как в зеркало. Значит, и у меня такая складка губ и такой взгляд — всезнающий, как у змеи.

Почти никто не питал иллюзий. Настоящей воли нет и не будет. Мы заложники. И достаточно сгуститься . . . нет, не то чтобы каким-то реальным тучкам, а просто — достаточно сгуститься сизому дымку, клубящемуся из знаменитой трубки, чтобы нас снова загнали за колючую проволоку.

Те, кто ждал транспорта на материк, придерживались формулы отчаяния: «Будь что будет! Повидаю своих, а там . . .» Те, кто оставался здесь, всячески старались утвердиться в ручном труде, в ремеслах. Кроме врачей, почти никто не работал, да и не хотел работать, по старой специальности. Зоологическая ненависть начальства к интеллигенции слишком хорошо была познана на собственной шкуре в течение лагерных лет. Быть портным, сапожником, столяром, прачкой . . . Забраться в тихую теплую нору, чтобы никому и в голову не пришло, что ты читал когда-то крамольные книги.

Многие винили меня в неосторожности. Как можно было идти работать в детское учреждение! Быть на виду у н и х! Скорее спохватятся, что зря выпустили . . .

Возвращаясь домой, я рассказывала об этих встречах Юльке, делилась с ней горечью своих предвидений и предчувствий. Юля принималась меня бранить. Раз уж пошла на такую работу, так нечего далеко загадывать! Надо уметь наслаждаться маленькими повседневными радостями, которые так долго были нам недоступны. Любимая Юлина формула была «А ты вспомни Ярославль!»

Со всей силой своего истинно фламандского жизнелюбия Юля убеждала меня, что нам во всей этой эпопее еще дьявольски везет. Всем смертям назло мы живы, здоровы, неплохо выглядим, в сорокалетнем возрасте еще получаем письма от влюбленных в нас мужчин. А насчет еды!

— Вспомни ярославскую шрапнель. И ежедневно благодари небо за то, что ты в своем детском саду получаешь обед из трех блюд: суп, второе и компот из сухофруктов.

В заключение этого гимна сокам земным Юлька вспоминала стихотворную строчку: «Сколько прекрасного в мире! Вот, например, капуста!»

— О моя Муха, ты права, как всегда, — со смехом отвечала я ей, но довольствоваться «капустным» пайком никак не могла научиться.

Однажды я встретила на улице старую казанскую знакомую — Гимранову из университетской библиотеки. Ее муж, бывший ректор Педагогического института, пошел по мукам очень рано, года с тридцать третьего. Его обвиняли в татарском национализме. И она жила до собственного ареста в тридцать седьмом закусив губы, не позволяя себе предаваться горю, потому что ей надо было выращивать двух сыновей.

Она с рыданиями бросилась мне на шею, не обращая внимания на колонку детей, которых я вела на прогулку.

— Какая ты счастливая! Какая ты счастливая! — твердила она.

— Я? Счастливая? Ты разве не слышала? Мой Алеша . . .

— Знаю. Но ведь Вася жив! Ах, какая ты счастливая — твой Вася жив! А мои . . . Оба . . . Оба . . .

Обрубок, лишившийся обеих ног, завидовал одноногому, ковыляющему с костылем.

Да, я счастливая, мой Вася жив! И еще я счастливая потому, что у меня сейчас такая работа, которая дает возможность посылать ему гораздо больше, чем до сих пор. А скоро детский сад вывезет детей за город, начнется оздоровительная кампания, и нам будут в это время платить полторы ставки. Тогда я смогу купить Васе пальто. Он пишет, что ходит в телогрейке.

Предстоящую мне поездку за город Юля все время поднимает, так сказать, на принципиальную высоту. Подумать только — ведь это я на курорт поеду! Какая же тут может быть мировая скорбь!

На двадцать третьем километре от Магадана, где прежде была центральная больница заключенных, теперь организовали пионерский лагерь «Северный Артек». Летом там отдыхали школьники, а с конца августа туда отправляли малышей из всех детских садов и яслей.

Несколько дней хлопотливых утомительных сборов. Покупаем ребят, пакуем посуду, одежду, игрушки. И вот уже автобусы около нашего двора, а строгая Елена Васильевна отсчитывает своим негромким гипнотизирующим голосом: «Пятая пара проходит, десятая пара проходит . . . Гаврилов, не смотри по сторонам! Малинина, дай руку Викторову!»

И еще два трудных дня устройства, расстановки кроватей и столов, утихомиривание взбудораженных перевозом детей.

Зато потом наступает благодатная тишь. Сентябрь — лучший месяц в Магадане и вокруг него. Лето — всегда ветреное и дождливое — уступает место ясным задумчивым дням ранней осени. Осторожное медлительное солнце плывет по сопкам, а на них краснеет коралловыми рифами зрелая брусника. Шишки, битком набитые кедровыми орешками, оттягивают вниз ветки стланника. Тропинки, по которым мы бродим с ребятами, устланы толстым слоем хвои. Ноги скользят и пружинят, как на ворсе толстого ковра. Но самое умирительное — это бурундуки. Их здесь очень много и, незнакомые с коварством людей, они отчаянно смелы. Бесстрашно шныряют под ногами, а иногда усаживаются на пенки и, сперничая в любопытстве с ребятами, рассматривают нас в упор своими черными бусинками-глазками.

От близости природы дети стали мягче, тише, доступнее. К тому же на этот месяц отменены все занятия. Мы только гуляем, поем на ходу песни, читаем стихи, собираем бруснику и кедровые шишки.

За последние почти одиннадцать лет — это мое первое более или менее свободное общение с небом и деревьями, с травой, со зверушками. Брожу с детьми и стараюсь быть бездумной, как они. Минутами это почти удается. Вдруг рождается какая-то примиренность, приятие всего. Жизнь . . . Ее надо благодарить за все. И она отдаст все в свой черед. «Принимая пустынные веси и колодца больших городов, осветленный простор поднебесий и томления рабских трудов». И вот ведь дождалась, вот он передо мной — осветленный простор поднебесий. Пусть ненадолго, но ведь пришел все-таки на смену томлениям рабских трудов.

Только по воскресеньям мне становилось здесь очень неуютно. Ко всем воспитательницам приезжали из города мужья, дети. И я снова должна была осознавать, что все простые человеческие радости не про меня. Ко мне не приедут. Мне не по л о ж е н о. Я из другого теста. И как раз по воскресеньям с особой истовостью в меня вгрызались все мои

боли. Непоправимая — об Алеше. И требующие активного моего вмешательства две живые боли — о Ваське и об Антоне. С каждым из них дело обстояло плохо, очень плохо.

О Васе я получила из Казани письмо от Моти Аксеновой, его родственницы по отцу, в семье которой он жил все годы своего сиротства, после того, как его разыскали в костромском детском доме для детей заключенных. Мотя писала, что у Васи тяжелый характер. За последнее время он связался с плохими мальчишками, пропускает школьные занятия, шляется в учебное время по бульварам и киношам. Вообще с ним просто сладу нет. Еще можно было терпеть все это, пока другого выхода не было: мать была в тюрьме. Но теперь, когда мать на свободе, какая причина не приехать за своим ребенком? Или, может быть, мать думает, что те деньги, которые она посылает, окупают все труды и расход нервов, потраченных на Васю? Так очень ошибается!

В конце письма Мотя ставила вопрос в упор: почему я остаюсь после освобождения в Магадане, почему не возвращаюсь и не забираю своего сына, чтобы заботиться о нем самой? Дальше делались довольно прозрачные намеки, что, видимо, я предпочла материнскому долгу свои личные женские дела.

Ну как было объяснить, да еще письменно, этому жителю другой планеты особенности моей «свободы»? Да и к чему объяснять? Надо было обязательно забрать Ваську сюда, в Магадан. С Юлей все это уже было согласовано. Она даже сказала своему начальству, что к ней с материка едет племянник, и начальство обещало сменить нашу нынешнюю семиметровую комнату на двенадцатиметровую в соседнем бараке.

Но для въезда на Колыму нужен пропуск. А пропуска выдают по разрешению отдела кадров Дальстроя. И легче верблюду пройти через игольное ушко, чем тюрзаку-террористу получить пропуск на члена семьи. Этим делом ведает полковник Франко, известный своей высокой бдительностью по отношению к врагам народа.

Опытные люди советовали мне действовать по особой методике, уже проверенной многими. Этот способ назывался «перманент» или «непрерывка». Следовало, получив отказ, подавать заявления снова и снова. Хоть десяток отказов! Пиши дальше! И в конце концов по закону больших чисел, пропуск твой проскочит фуксом через бюрократическую машину. Ну мало ли что! Может быть, твое очередное заявление придется на время отпуска полковника Франко. Или канцеляристы что-нибудь перепутают.

Я послушалась этих советов, и к осени получила один за другим два отказа. Я подала третье заявление и одновременно записалась на прием к полковнику Франко, надеясь умиловить его личным объяснением. Может быть, увидав меня вочию, он поверит, что опасность террористических актов с моей стороны и со стороны моего пятнадцатилетнего сына не так уж велика.

Аксеновым я посылала отчаянные письма, умоляя их потерпеть еще немного. Уже скоро-скоро я заберу Ваську. Писала я и самому Ваське — таинственному незнакомцу, чей образ двоился перед моим внутренним взором: я пыталась представить себе своенравного подростка с резкими повадками, но тут перед глазами выплывала толстенькая фигурка четырехлетнего малюканчика на руках няни Фимы.

Писала я и маме, просила ее объективно написать, велика ли опасность, что Васька совсем отобьется от рук и бросит школу. Мама отвечала, что, конечно, надо мне Васю вызвать к себе. Вообще-то он умный и довольно красивый парень. Но характер . . . Сама увидишь.

Начались снова мучительные сны про Ваську. Я просыпалась в холод-

ном поту, с сердцебиением. Мне снилось, что он бросил школу, связался с уголовниками и что я встречаю его в лагере.

Не лучше обстояли дела и с Антоном. Всего дважды я получила от него по Юлиному адресу короткие весточки. Один раз — это было письмо, присланное официально, по почте, со штампом лагерной цензуры. В письме подробно описывалась природа вокруг прииска Штурмовой, а о себе сообщалось лаконично: жив-здоров. Второй раз — это был мешочек с кедровыми орешками. Его передал экспедитор со Штурмового, приехавший в Магадан по делам. К сожалению, ни меня, ни Юли не было дома, и он оставил мешочек у соседней, сказав только, что это от доктора Вальтера. Мы перебрали орешки по одному и нашли-таки среди них свернутую трубочкой записку на папиросной бумаге. Всего несколько слов по-немецки. Из них было ясно: командировка строго режимная, никакой связи с вольными, будущее покрыто мраком.

Вот потому-то я и не любила воскресений, которых почти все остальные обитатели нашего детского оздоровительного лагеря ждали с нетерпением. В обыкновенные дни горькие мои раздумья вытеснялись работой, непрерывным напряжением нервов, заботами о том, чтобы все мои тридцать восемь человек были здоровы, чисты, сыты, веселы. А по воскресеньям на моих руках оставалось всего семь-восемь человек ребят, таких же бездомных бедолаг, как я. К остальным приезжали мамы, а в отдельных случаях даже папы или дяди, и ребята уходили с ними, разбредались отдельными группками.

Своих безродных я старалась отвлечь от естественного чувства зависти, от ощущения своей неполноценности и заброшенности. Поэтому я с самого утра уводила их на дальние прогулки, в сторону от лагеря. Кстати, чтобы и самой не видеть, как весело щебечут мои вольные коллеги-воспитательницы с приехавшими мужьями и детьми.

Во время этих дальних походов я освобождала себя от программы, утвержденной методкабинетом. Чтобы как-то утешить и себя и их, я пересказывала своим сиротам книжки моего детства. Они узнали от меня историю маленького лорда Фаунтлероя, оторванного жестоким дедом от матери. И злоключения маленькой принцессы Сары Крю, которую так обижали злые люди, что она подружилась с крысой. Крысу звали Мельхиседек. И мало-помалу я начала уже говорить им о Давиде Копперфильде с его жестоком отчимом, и о ранней смерти Домби-сына, и о крошке Доррит . . .

В конце прогулки, когда я, усталая, усаживалась на пенек, мои неутомимые воспитанники, как гномы, продолжали кружиться вокруг меня, награждая меня за рассказы горстями спелой брусники. Сыпали ее мне прямо на колени, а потом мы ели все вместе. Бывали в этих одиноких прогулках и хорошие минуты, когда я чувствовала благодарность и привязанность детей.

Тем не менее я бесконечно обрадовалась, когда однажды, уже под конец нашего курортного сезона, я услышала в одно из воскресений голос моей сменщицы Анны Ивановны:

— К вам гости! Двое мужчин . . .

На секунду мелькнула безумная мысль: не Антон ли появился каким-то чудом? Но на пороге стояли двое незнакомых людей — старик и человек лет сорока. Они представились. Старик назвался Яковом Михайловичем Уманским, его спутник — Василием Никитичем Куприяновым. С первого беглого взгляда можно было определить, что оба они — бывшие заключенные. Как попали сюда, что здесь делают? Ведь до сих пор я была здесь одна-одинешенька в царстве вольняшек.

Все оказалось очень просто. Когда на территории теперешнего лагеря

«Северный Артек» была центральная больница заключенных, оба мои гостя, врачи-патологоанатомы, работали здесь и жили в маленькой комнатке при морге. Теперь эта хатка вне ограды пионерского лагеря. С октября анатомы должны перейти в Магадан, работать в морге вольной больницы. А сейчас им поручено составить для управления лагерей большой секретный отчет о смертности заключенных. Вот потому они и живут тут, по соседству.

— Узнали, что среди воспитательниц есть одна наша, ну и пришли, — сказал Куприянов. — Поди несладко тут одной среди вольняшек. Словом не с кем перебраться. Давайте погуляем, поговорим . . .

Наконец-то, наконец и у меня появились родственники. И мне тоже разрешают передать детей другой воспитательнице, а самой идти со своими гостями . . .

Мы отправились на дальнюю сопку. Мы говорили наперебой. Говорили, как друзья, встретившиеся после долгой разлуки. Нас не отравляло то гнусное чувство неуверенности в собеседнике, опасение предательства, которое так часто и так долго (уже десятилетиями!) отравляет многие наши новые знакомства.

Старик Уманский с первого же знакомства проявил свою страсть к философствованию, к теоретическому осмысливанию происходящего. О чем только он не говорил в эту первую нашу встречу. О трагизме нашей эпохи, об ее апокалиптическом характере. О слепой игре иррациональных злых сил и в нашей личной и в общей исторической жизни. О фашизме, об этом духовном заболевании человечества, и об его заразительности.

Речи Василия Куприянова были насквозь пропитаны горечью. Бывший коммунист, притом пламенно верующий, он, пройдя через все наши круги ада, переживал теперь неизбежные сумерки кумиров, и это перерастало у него в отрицание реальной силы добра вообще. Он был теперь убежден, что удел всего честного и доброго — гибель. Молодой ученый, подававший в тридцатых годах блестящие надежды, он говорил теперь о полном крушении гуманистической культуры, вспоминал пророчество Герцена о пришествии Чингисхана с телеграфом.

Выглядел Куприянов, в противовес своим горьким речам, очень хорошо. Белокурый викинг. Типичный синеглазый, прямоносый, высоколобый помор. Он был родом из Архангельска.

— Вы похожи на Рюрика, Синеуса и Трувора, — смеясь, сказала я ему.

Старик Уманский, философ-созерцатель, знаток Священного писания, полиглот, пожиратель стихов, сформировался под влиянием противоречивых условий. Нищее детство в еврейско-украинском местечке, а потом долгая эмиграция и образование, полученное во Франции и в Швейцарии.

Из чуть выпуклых голубых, совсем не выцветших глаз Уманского, из всех морщинок и бугорков стариковского лица так и струилась доброта. Речь его, битком набитая цитатами, была тем не менее ярко своеобразна, полна мягкого, слегка по-еврейски окрашенного юмора. Память Якова Михалыча была просто феноменальна для его возраста. Он читал наизусть кого угодно — и Лукреция Кара, и Георгия Плеханова, и лорда Байрона, и Давида Бурлюка.

Несколько часов кряду бродили мы по сопке, охрипли от споров и наконец присели на склоне отдохнуть и поесть брусники. Стоял один из прозрачных сентябрьских деньков. Брусника была в самом соку. Мы ели ее горстями, высыпая в рот из ладони. Оба мои кавалера по-рыцарски подносили мне то и дело зеленые ветки, огурузневшие от зрелых ягод.

— Не надо, Яков Михалыч. Вам трудно . . . Пусть уж Василий Никитич постарается, он молодой.

— И я не так уж стар, — слегка обижается Уманский и огорченно добавляет: — Впрочем, и не молод, конечно. В Библии сказано: веку же человеческого — семьдесят лет, а что свыше — то от крепости. Так вот, я уже перешел на крепость . . .

Я навсегда запомнила ту душевную радость, которую принесло мне это нечаянное общение с неожиданно обретенными родственниками. Какими родными я их чувствовала в этот солнечный день! По страданиям. По мыслям. По желаниям и надеждам. Есть ли ближе родство? Почему-то человеку доставляет особую радость сознание общности психологических законов. И мне и моим гостям было так отрадно видеть, что в условиях одинаковых страданий и унижений наши мысли и чувства развивались в одном направлении, приводили нас часто к одинаковым выводам.

С полунамека поняли они и все конкретные сиюминутные трудности моего вольнонаемного существования.

— Вот приедет Васька, — говорил Уманский таким тоном, точно знал моего Ваську с самого рождения, — и я буду с ним заниматься по математике и по языкам. Чтобы он подогнал все, что там упустил, шалопай этакий!

Куприянов, в противоречии со своим всеобъемлющим пессимизмом, утешал меня насчет пропуска.

— Правильно делаете, что пишете повторно. Пишите! По закону больших бюрократических чисел в конце концов машина сработает на «Да». Логика? Ишь, чего захотели! Именно по закону алогизмов и сработает. Только на прием к этому атаману шайки не ходите. При всех условиях лучше, чтобы персонально они нас не знали.

В итоге тридцать седьмого года Куприянов потерял двоих самых дорогих людей: жену и товарища, с которым шел вместе с детства до самого ареста. Жена уже на втором году заключения умерла в Томском женском лагере для жен и з м е н н и к о в р о д и н ы . С другом вышло хуже. Он не только стал свидетелем обвинения по делу Василия Никитича, не только дал ему «очную ставку», подтверждая, что Куприянов имел преступные сношения с моряками иностранных кораблей, пришедших в порт Архангельск, но и присвоил себе почти готовую диссертацию Куприянова. Сейчас кафедру получил. И хоть бы рубль дал старой матери своего бывшего друга, которая работает уборщицей и растит четырнадцатилетнего внука, единственного сына Василия Никитича.

— Надо ехать. Не сомневаюсь ни минуты, что опять посадят. Но выхода нет. Может, хоть год придержу на поверхности, подержу их.

Отчетливо помню странное, почти мистическое чувство предвидения дальнейшей судьбы Куприянова, охватившее меня вдруг. Знала, что погибнет. И что отговаривать от поездки на материк — бесполезно.

Что до Уманского, то он, оказывается, прибыл на Колыму в качестве вольного врача-договорника.

— Хотите презирайте, хотите нет, но приехал за деньгами. Двойная ставка, процентные надбавки. а у меня две дочки. Обе невесты. Сусанночка и Лизочка. Я вырастил их без матери, жена умерла рано.

Дальше жизнь Якова Михайловича приняла вдруг такой неожиданный оборот: в тридцать седьмом вольные врачи Магадана были призваны выразить на собрании свое гневное возмущение антисоветскими и аморальными поступками арестованного в Москве известного профессора Плетнева.

И тогда доктор Уманский, приехавший на Колыму с целью скопить приданое дочкам, поднялся и сказал: «Я не знаю политических взглядов профессора Плетнева, на эти темы мы с ним не беседовали. Но я работал в его клинике и могу заверить вас, что все эти рассказы о том, что он якобы пытался изнасиловать пациентку, абсолютная несусветная чушь. И это скажет вам всякий, кто хоть немного знает профессора Плетнева. И лично я голосовать за такие вздорные обвинения не могу».

На этом и закончилось накопление приданого для барышень Уманских. На другой же день после этого выступления Яков Михайлович был арестован. Он получил по Особому совещанию полных десять лет по статье КРА (контрреволюционная агитация). Он полностью отбыл этот срок и освобожден совсем недавно.

Под конец нашей прогулки Яков Михалыч вдруг отчаянно заспорил со мной, услышав, что я назвала бывших заключенных вольноотпущенниками.

— Совершенно неточный термин! — горячился он. — Абсолютно несравнимые категории! Я вам называю десяток имен римских вольноотпущенников, которые стали потом персонами грата. И уж во всяком случае никому из них не угрожало возвращение в рабство. А мы? Да ведь каждый бывший зэка — это в то же время и будущий зэка. Как вы смотрите, Василий Никитич?

Куприянов усмехнулся.

— Что уж говорить мне, пессимисту, если наш оптимист делает такие прогнозы! Не будем углублять терминологический спор. Скажу только одно: мне ясно, что наша сегодняшняя бесконвойная прогулка — это одна из улыбок судьбы, дарованная нам в промежутке между двумя тюремными циклами. Наш Родной Отец никогда не прощает тех, кому он сделал такое зло . . .

— Сдаюсь, — провозгласила я, — действительно, вольноотпущенник — не то слово. А как посмотрит ученый совет, если я предложу другое ходовое словечко — «временно расконвоированные»?

— Это точнее, — одобрил старик. — Но тем не менее, сознавая это, мы должны жить так, точно всерьез верим в свою свободу. Иначе сведется к нулю вся прелесть этих расконвоированных дней или месяцев.

— А вот с этой точки зрения стоит ли рисковать мальчишкой? — задумчиво сказал Куприянов. — Может, лучше вам самой добиваться разрешения на материк?

— Кто ее туда пустит, террористку-тюрзачку? И чем она там этого Ваську кормить будет? Здесь вон какого педагогического чина удостоилась, а там и в уборщицы не возьмут. Нет, Ваську надо обязательно сюда. Бог милостив, может, успеет кончить школу, пока мама расконвоирована. А нет, так хоть честным человеком вырастет, увидав своими глазами колымский пейзаж.

С какой готовностью они принимали в себя чужие боли! Как добры они были, эти люди, пережившие свыше того, что, казалось бы, может пережить человек!

И все они умерли, умерли . . . Куприянов уехал в Архангельск в сорок восьмом, а уже в пятидесятом мы узнали, что он погиб в этапе по пути в Восточную Сибирь, после второго ареста. Уманский был просто сражен горем. «Почему не я? Почему не я? — твердил он все время. — Ведь он, Василий Никитич, почти целых тридцать лет не дожид до того возраста, который определен человеку Священным писанием. Такой ученый! Мог быть вторым Пастером или Вассерманом. А умер от голодного поноса . . .»

Впрочем, и сам Яков Михалыч ненадолго пережил своего молодого друга. Но об этом дальше . . .

Глава шестая

И БАРСКИЙ ГНЕВ, И БАРСКАЯ ЛЮБОВЬ . . .

Год сорок восьмой надвигался на Магадан, с мрачной неотвратимостью пробиваясь сквозь сумерки ледяного тумана, сквозь угрюмую озлобленность людей.

Бешеный заряд злобы несли на этот раз не столько заключенные и бывшие ээка, сколько вольные. Денежная реформа конца сорок седьмого года, пожалуй, большее, чем по жителям любого другого угла страны, ударила по ним, по колымским конкистадорам, по здешним простым советским миллионерам. В верхней прослойке договорников отряды этих социалистических миллионеров были уже довольно значительны. Но даже и средние вольняшки, прожившие на Колыме несколько лет, насчитывали на своих сберкнижках сотни и сотни тысяч.

Все эти люди, привыкшие ощущать себя любимыми детьми советской власти, были оглушены обрушившимся на них ударом. Как! Поступить подобным образом с ними, с теми, кто составлял оплот режима в этом краю, населенном врагами народа! С теми, кто пережил здесь столько студеных зим, лишая свой организм витаминов!

Для многих эта реформа стала началом краха того иллюзорного мира, в котором они жили и который казался им так безупречно организованным. Мне запомнилась беседа с бывшим командиром тасканского взвода вохры. Я встретила этого «знакомого» на улице, по пути на работу, и он долго задерживал меня, чтобы я приняла на себя взрыв распиривших его словес. Ох, и удивительные же это были словеса! Голос командира шипел, клокотал, захлебывался.

— Справедливость называется! Семь годов мантуллил как проклятый! Жизньню рисковал . . . Каких зубров охранял! Баба моя ребят бросала на благо святых, сама на работу бежала, проценты эти выбивала. А сейчас . . . Только, понимаешь, оформились на материк, уволились с Даль-строя. Ну, думаем, хату на Полтавщине купим, барахла всякого . . . По курортам покантуемся . . . И вот — на тебе! Купишь тут шиша елового . . .

Я охотно повела с таким необычным собеседником массово-просветительную работу. Дескать, война и все такое . . . Инфляция . . . Оздоровление экономики . . .

— А, брось ты, понимаешь! Хорошо вам, голодранцам, про экономику-то болтать! Терять вам нечего . . . Да и люди вы отчаянные. Не только денег, а детей своих не пожалели, во враги народа подальсь . . .

И вдруг он прервал сам себя, пристально поглядел на меня, махнул рукой и буркнул: — А может, и про вас все наврало! Черт его разберет!

Настроение вольных было испорчено еще и тем, что появились новые этапы заключенных, получивших свежие сроки именно за махинации, связанные с реформой. Им дали статью «экономическая контрреволюция», и они, таким образом, попадали опять-таки в категорию врагов народа. Были такие случаи и среди жителей Магадана.

По углам тревожно шептались, передавая сенсационные подробности разнокалиберных денежных операций. Самая суть махинаций была для меня абсолютно непостижима: кто-то кого-то предупредил, кто-то кому-то продал, кто-то не то вовремя снял деньги с книжки, не то, наоборот,

вовремя положил на книжку. Но развязка во всех случаях была стандартной: десять, иногда восемь, лет заключения за экономическую контрреволюцию.

Юлька радовалась как ребенок, что мы-то несколько не пострадали от денежной реформы. Ни одного гривенника!

— Мне хорошо, я сирота! — острила она и добавляла: — Нет, у меня все-таки есть интуиция . . . Как будто какой-то внутренний голос подсказал мне: покупай вторую раскладушку!

Эту капитальную затрату мы сделали, имея в виду предстоящий приезд Васьки. Но пока что все это оставалось в пределах беспочвенных мечтаний, потому что к началу сорок восьмого года я получила от отдела кадров Дальстроя уже восемь — ВОСЕМЬ! — отказов на выдачу моему сыну пропуска в Магадан.

Вся технология «перманентной» подачи заявлений была у меня уже отработана с предельной четкостью. Я выходила из комнаты, где мне сообщали: «Вам отказано», и тут же заходила в соседнюю, куда сдавала новое, заготовленное заранее заявление. Новые заявления принимались механически и безотказно. Каждый раз говорили: «За ответом придете такого-то числа». И после этого отчаяние опять уступало место обманчивым надеждам.

Да, на встречу с Васькой я еще надеялась. Потому что от него шли письма. Скупые, редкие, но шли. И он выражал в них интерес к предстоящему, первому в его жизни, далекому путешествию.

Зато мысль об Антоне и его судьбе будила меня среди ночи толчком в самое сердце, обливала холодным потом, застилала глаза мутной тьмой.

После мешочка с кедровыми орехами потянулись долгие месяцы без всяких вестей, без признаков жизни. Я развила бешеную энергию. Писала всем нашим, кто после выхода из лагеря жил в районе Ягодного и Штурмового. И вот уже перед самым Новым годом пришел ответ, хуже которого трудно было придумать. Одна из моих знакомых по Эльгену все разузнала и сообщила мне, что Антона уже давно нет на Штурмовом. Его отправили в этап и при очень странных обстоятельствах. В обстановке строгой секретности. Без всякого нарушения режима с его стороны. Отправили одного, спецконвоем. Похоже, что по требованию откуда-то свыше.

В бессонные ночи передо мной проплывали картины недавних военных лет. Сколько заключенных немцев (советских граждан) вот так же отправлялись в секретные этапы, чтобы никогда и никуда не прибыть. Правда, сейчас война кончилась. Но кто поручится за колымское начальство! Мне рисовались сцены избиений, допросов, расстрела. Виделась таежная тюрьма «Серпантинка», о которой никто ничего не знал, потому что еще ни один человек оттуда не вернулся.

Хуже всего было сознание собственного бессилия. Я даже не могла сделать официального запроса об его участии. Ведь я не родственница. Пораздумав, написала в Казахстан одной из его четырех сестер, находившихся там в ссылке. Просила ее сделать запрос от имени родных. Они писали. Им не ответили.

Между тем на работе у меня тоже происходили существенные перемены. Вскоре после нашего возвращения из «Северного Артека», где мне дали Почетную грамоту, меня вызвала к себе начальник детских учреждений доктор Горбатова. Она начала разговор с того, что очень довольна моей работой.

— Все у вас есть: образованность, трудолюбие, привязанность к детям. Но . . .

У меня похолодело под ложечкой. Смысл этого НО был ясен. Наверно, отдел кадров сживает ее со света за то, что она держит террористку-тюрзачку на «идеологическом фронте». И сейчас эта добрая женщина ищет слов, чтобы смягчить удар. Боже мой, что же я буду посылатъ Ваське?

— Нет, нет, никто вас не увольняет, — воскликнула Горбатова, прочтя все это на моем лице, — я просто хочу принять некоторые меры, чтобы упрочить ваше положение . . .

Оказалось, что в нашем детском саду освобождается место музыкального работника. Наша заведующая, которая по совместительству вела музыкальные занятия, уходит в 1-й детский сад. Таким образом мне предоставляется замечательная возможность.

— Мне сказали, что вы хорошо играете.

— Очень неважно. Училась давным-давно, в глубоком детстве.

— Ничего. Поупражняйтесь — восстановите. Зато понимаете . . .

И тут Горбатова заговорила так открыто, точно сама была не начальником, а тюрзачкой-террористкой.

— В ближайшее время из Красноярского дошкольного педучилища прибудет несколько выпускниц-воспитательниц. Тогда мне будет почти невозможно отстаивать вас дальше. А пианистка . . . Пианисток среди них нет. Это для вас защитная добавочная квалификация. К тому же слово пианистка звучит как-то нейтральнее. Подальше от идеологии . . . Ну что, согласны? Зарплата та же.

Рассуждения эти не могли вызывать возражений. Но все-таки соглашалась я скрепя сердце. Ведь здесь не таежный Таскан, где достаточно было разбирать «Песни дошкольника». Здесь придется проводить утренники при большой публике, играть бравурные марши в быстром темпе. Одним словом — надо было срочно вернуть утраченную технику.

Я дала телеграмму в Рыбинск, где после войны жила мама, оставшись на месте своей эвакуации из Ленинграда. Бедная, все думала, что Рыбинск-то, может быть, мне и разрешат . . . Сейчас я просила выслать ноты, не очень-то надеясь, что она сможет купить в Рыбинске то, что надо. Но прибыла бандероль, и я с изумлением обнаружила в ней мои старые детские ноты. Как она умудрилась сохранить их, вынести из двух пожарищ, своего и моего дома? Однако — факт: у меня в руках был мой собственный Ганон, над которым некогда страдала я, восьмилетняя. Пожелтевшие подклеенные страницы пестрели резкими карандашными пометками учительницы, и я вспомнила ее большую руку, обводившую лиловыми кружками те ноты, на которых я фальшивила. На одной странице было написано кривыми ребячьими буквами: «Не умею я брать октаву. Руки не хватает!» И «умею» — через ЯТЬ.

Ганон! Я смотрела на него с глубоким раскаянием. Ведь именно в нем воплощались для меня когда-то все силы старого мира. Именно эту тетрадь я забросила подальше, подавая заявление в комсомол и объявив родителям, что у меня теперь заботы поважнее. Пусть дочери мировой буржуазии штудируют Ганон!

Думала ли я тогда, что настанет день, когда отвергнутый Ганон прибудет на Крайний Север спасать меня от увольнения с работы, от беды, от всяческого злодейства. Прости меня, Ганон! И вы простите, Черни и Клементи!

Я рьяно принялась за дело, просиживая долгими часами у расстроенного детсадовского пианино. Совсем не просто было вернуть гибкость

пальцам вчерашнего лесоруба и кайловщика. Видела бы мама, как я усидчива, как настойчиво не отхожу от инструмента! Сколько огорчений доставила ей когда-то моя музыка! Теперь от этой постылой в детстве тетради зависла моя дальнейшая жизнь, судьба Васи... И я старалась. И мне помогали пометки давно умершей учительницы.

Горбатова была права: для отдела кадров слово «пианистка» звучало нейтральнее, чем «воспитательница». Но она ошибалась, думая, что музыкантша детского сада может стоять подальше от «идеологического фронта». Наоборот. Ведь именно музыкальный работник должен был быть и автором сценариев и режиссером всех праздничных утренников. А утренники это и был основной «товар лицом». Их показывали начальству. Их проводили раз семь в году, по всем двенадцатым и престольным праздникам. По успеху или провалу утренников судили обо всей работе с детьми. Так что и в новой моей должности методистки из дошкольного методкабинета продолжали бдительно следить за каждым моим шагом.

Моим дебютом должна была стать елка, новогодний утренник сорок восьмого года. Именно в эти черные дни, когда я уже была вконец обессилена борьбой за приезд Васьки, когда неотступно стояло передо мной лицо Антона, истерзанного, может быть убитого, — именно в это-то время я и должна была изощряться, чтобы составить сценарий, какого еще не было в Магадане, яркий, веселый, полный елочной мишуры. И не только сочинить сценарий, но и заразить его веселостью детей, воспитателей. И главное — чего уж там скрывать его себя самой — ублажить начальников, которые придут смотреть.

Бросить все, уйти в спасительный утильцех? Но там я заработаю вдвое меньше. А вдруг в это время разрешат вызвать Васю? А у меня не будет денег на билет для него... Значит, надо делать все, чтобы понравилось, чтобы не выгнали с выгодной работы...

Елка удалась на славу. Да это и нетрудно было. Ведь масштабом для сравнения были довольно казенные представления, однообразно переходящие из года в год. Методистам понравилась драматизация сказки. Это давало ценный опыт для работы кабинета методики. Родители хохотали вместе с детьми. Горбатова жала мне руку и говорила громко, так, чтобы слышал начальник кадров Подушкин: «Такого утренника в наших садах еще не было». Даже сам начальник сануправления Щербаков улыбнулся и кивнул мне головой.

О низость! Я ли это? И не лучше ли, в конце концов, было в тюрьме и в лагере? Там мне не надо было ловить начальственные улыбки. Там пайку давали даром. Да, но пока я ела эти даровые пайки, пропал Алеша. А теперь я должна спасти Васю. Нет, не любой ценой, конечно... Не любой... Ведь я не сделала ничего подлого. Только притворилась веселой, только любезно ответила на улыбку Щербакова... Такие силлогизмы терзали меня день и ночь, и хуже всего было то, что Юле нечего было и заикаться об этом. Она гордилась моими успехами, а все остальное считала «интеллигентскими рефлексиями».

... Стоял беспросветный магаданский январь. Правда, температура здесь не доходила до пятидесяти, как часто бывало на Таскане или в Эльгене. Но магаданские тридцать-тридцать пять переносят было тяжелее, чем таежные пятьдесят. Колкий ветер с моря, промозглость воздуха и какое-то особое, чисто магаданское удушье терзали людей.

Каждое утро хотелось умереть. Главным образом и для того, чтобы все забыть. И это страстное желание все забыть каждое утро терпело

поражение. Его побеждала именно память, которая подсовывала одно только слово: Васька. Ведь его надо заполучить сюда. А если даже это не удастся, то ему надо посылать каждый месяц деньги на жизнь, на образование.

В один из таких дней, когда хотелось от отчаяния выть по-волчьи, а приходилось аккомпанировать ребятам, разучивавшим песню «Сталин — он с нами везде и всегда, он — путеводная наша звезда», дверь музыкальной комнаты отворилась, вернее чуть-чуть приоткрылась.

— Вас вызывают . . . Из дома . . .

У дверей стояла Юля. На лице ее был ответ чего-то необычайного — тревоги, изумления, радости, чуда, землетрясения какого-то, что ли. Она сжала мою руку и зашептала:

— Скажи, что ты неожиданно заболела. Или еще что-нибудь наври . . .

Но отпросись домой! Немедленно! У него в распоряжении только один час.

— У кого?

— У Антона Вальтера. Он сидит в нашей комнате.

Не помню, как мы шли, как бежали против ветра. Помню только, что Юля сказала: «Отдышись, а то умрешь. Как буду перед ним отчитываться!»

Он стоял у самого порога, прислушиваясь к движению в коридоре. Сразу узнал мои шаги и распахнул дверь. И я прямо упала к нему на руки.

На улице я бы его не сразу узнала. Он был похож теперь на любого из наших тасканских доходяг. Просто невероятно, чтобы можно было так исхудать меньше чем за год. Он почему-то хромал, и нога была перевязана. Черные тени лежали под глазами. Морщины на щеках стали резкими, как у старика. Но это был он. Живой. Пусть даже полуживой. Он все время дотрагивался до моей руки, точно стараясь убедиться, что это действительно я, точно это я, а не он, восстала из гроба.

Теперь мы слышали ответы на все мои ночные загадки: где? как? почему?

На Штурмовом все шло сначала более или менее благополучно. Хлеба достаточно, обращение начальства, хоть и холодное, но вежливое. До тех пор, пока не появился там новый начальник режима. Он сразу возненавидел доктора по многим причинам. И за манеру свободно разговаривать с начальством, и за то, что заключенному врачу довелось однажды увидеть режимника не в форме, когда тот занемог, малость перехватив чистого спирта. И за то, что вообще немчуря, фриц недобитый, еще лыбится, вражина . . .

Стал помаленьку утешать врача. Запретил писать и получать письма. А кем она вам приходится, эта Гинзбург? Чтой-то подозрительно . . . А вот ослобонитесь, тогда и пишите . . .

Вот так угодил доктор под барский гнев.

А в это время в столичном городе Магадане действие развивалось в обратном направлении: доктор явно подпадал под барскую любовь. Дело в том, что у начальника Дальстроя генерала Никишова страшно разболелась печень. Приступы были лютые, и генерал гневался на врачей. Ничего не могут . . . И однажды кто-то из придворных обмолвился, что вот в Москве, дескать, в таких случаях отлично помогают гомеопаты.

— Так неужели нет у нас среди ээка гомеопатов?

— Вспомнили! Есть один! Только немец!

— Ну и хорошо, что немец! Они в науке хитры. Где он?

— На Штурмовом, на строгом режиме.

— Вызвать в Магадан!

И в один прекрасный день на Штурмовом получили приказ: этапировать заключенного Вальтера Антона Яковлевича в Магадан. Приказ лег на почву давно бурлившего барского гнева и поэтому был воспринят как репрессия против ненавистного немца. Режимник не сомневался, что Вальтера везут на переследствие и пересуд. А так как два лагерных срока, в дополнение к первому, основному, у немца уже были, то что же ему, голубчику, остается? Серпантинка и вышка! Или прямо вышка, без пересадки. Меньше всего режимнику приходило в голову, что немчуря потребовался САМОМУ. И отправил он Вальтера в общем порядке, то есть именно по этапам. Как на грех, в магаданском приказе не поставили слово СРОЧНО. Так что везли Антона не торопясь, четыре месяца. Мытарили по неотопливаемым таежным тюрьмам, бросали в камеры, набитые страшными блатарями. Водили по тайге пешком. Почти не кормили. В ответ на жалобы — ухмылялись. Со смертниками не церемонятся.

— И действительно, я был смертником. Независимо от того, собирались ли они меня расстрелять. Диагноз мог поставить любой студент четвертого курса. Тем более, раскрылась трофическая язва на ноге.

Значит, это была язва. А я думала, ногу сломал . . . Сколько раз он говорил мне на Таскане, обнаруживая такие язвы на ногах доходяг: «Начало гибели. Распад белка».

— Не пугайся. Это был бы и впрямь конец, если бы у генерала Никишова не разболелась печень. Но сейчас я нужен. Меня откормят. Язва снова закроется.

(Тогда он оказался прав. Многие годы после этого на месте зияющей язвы был всего небольшой непроходящий синяк. Только к шестидесятому году, после душевной перегрузки и физического потрясения, связанных с реабилитацией и возвращением на материк, по каким-то загадочным законам природы эта трофическая язва снова раскрылась и зазияла на ноге Антона. Как клеймо, с которым уходило из жизни столько колымских заключенных. За два дня до смерти, в конце декабря пятьдесят девяти года, лежа в Московском институте терапии, Антон с горькой улыбкой говорил: «Узников Освенцима и Дахау узнают по выжженным на руке номерам. Колымчан можно узнавать по этому штампу, вытатуированному голодом».)

Но тогда до последнего удара было еще далеко. И мы бились как птицы между стеклом и приоткрытой форточкой — между страхом задохнуться и надеждой вылететь. Оснований для надежды было теперь много: мы снова в одном месте, он снова получит пропуск на бесконвойное хождение.

Антон поселили за четыре километра от города на так называемом «карпункте». Работать его назначили в вольную больницу, так что были шансы быстро подкормиться.

Первое его появление у генерала Никишова было связано с неприятностью. Готовя врача к столь ответственному визиту, чиновники-порученцы притащили для него в лагерь, на карпункт, вольный костюм, рубашку с галстуком, настоящие ботинки. Измученного этапом Антона это взбесило. Категорически: он не наденет этого костюма. Но почему? Да потому, что не подходит ни к общему виду, ни к общественному положению. Но ведь нельзя же ехать лечить генерала в этом рваном тряпье. Почему же? Если можно в нем ходить . . . Ах так? Может быть, он отказывается лечить генерала? Нет, лечить всякого, кто к нему обращается, — святой долг врача. Но в маскараде участвовать он не желает. Пусть генерал посмотрит, как выглядит заключенный врач после четырехмесячного скитания по таежным изоляторам.

Порученцы ушли, предложив доктору подумать до завтра. Юлька, которая с первого взгляда поддалась обаянию Антона и полюбила его, всячески уговаривала его «не упрячиться из-за мелочи», «не поднимать этот идиотский костюм на принципиальную высоту». Я молчала. Во-первых, знала, что говорить бесполезно, во-вторых, внутри еще свербело у меня от собственных елочных улыбок. Молчала, хотя умирала от страха: не упекли бы его еще куда-нибудь почище Штурмового.

Но все обошлось. Сошлись на лагерной одежде первого срока, в которой врача и доставили на следующий день к генералу. В прихожей те же порученцы заставили его надеть белый медицинский халат. Но из-под него торчали лагерные ботсы и штаны из чертовой кожи.

Впрочем генерал, которого скрутило очень основательно, никакого внимания на внешний вид врача не обратил. Однако его рецепты в гомеопатическую аптеку приказал отправить в Москву тут же, специальным самолетом.

Началась новая жизнь. Она не была больше пустыней одинокого отчаяния, но зато каждый конкретный день насытился неизбежной тревогой. Если Антон запаздывал хоть ненадолго со своим ежевечерним приходом к нам (а приходил только, чтобы подтвердить, что жив, и шел снова в лагерь, отшагивая свои километры в сторону карпункта), я просто погибала под бременем своего воображения. Да и не только воображения! Так многое могло с ним стрястись вполне реально. Наиболее ходовые варианты несчастий: не отправили ли опять в этап? Не упал ли на ходу со своего карпункта и не замерз ли на трассе? Не убил ли какой-нибудь блатарь, которому врач не дал освобождения от работы?

Больше всего мучило, что я не только не смогу помочь, но даже и не узнаю ничего точно. Просто в один страшный вечер он не придет, исчезнет, растворится в воздухе, будто и не было его . . . Так вот и каменела от ужаса до того самого момента, как раздавались наконец три условных стука в дверь. Пришел! Жив! Сегодня жив и пришел. А до завтра еще далеко . . .

Антону приходилось шагать ежедневно не меньше десятка километров: с карпункта до вольной больницы, из больницы — к нам, а на ночь — снова на карпункт. Но как ни странно, а именно активность движений и напряженность работы и вывели его из статуса доходяги. Тогда ему еще не было пятидесяти, а воля к жизни была огромна. Первым признаком того, что дело пошло на поправку, были рассказы в лицах и анекдоты. Из нашей комнаты по вечерам теперь снова доносился хохот, как, бывало, на Таскане. Новые персонажи из окружения Антона как живые вставали перед нами из его рассказов. Святой мученик на глазах снова превращался в веселого святого.

Слава Богу, Никишову вроде полегчало от гомеопатических средств, и он приказал оставить немца в Магадане, чтобы был на случай всегда под рукой.

— Да ты понимаешь, какой это дар небес, что мы опять можем видеться каждый день? — без конца повторял Антон. — Ну сколько было шансов, что снова встретимся? Ноль целых, одна сотая! И вдруг именно эта сотая и перетянула. И вот увидишь, Вася тоже скоро будет с нами. Только надо действовать энергичнее.

Куда еще энергичнее! Я получила уже ДЕВЯТЬ отказов и подала десятое заявление. Все наши советовали мне, если откажут в десятый, идти на прием к Гридасовой. О ней ходили всевозможные рассказы. Из уст в уста передавалась, например, история Иры Мухиной, балерины из нашего этапа. Эта Ира чем-то так очаровала всемогущую Гридасову, что та снабдила ее чистым паспортом, одела с ног до головы в одежду со своего

плеча и на свой счет отправила на материк. Но были о Гридасовой и другие слухи. Говорили, что если кого не взлюбят, то тому уж на свете не жить.

В марте я попала наконец на прием к полковнику Франко из отдела кадров Дальстроя. Много раз записывалась, но все невпопад: то уехал, то болен, то не принимает. Но вот я стою наконец перед огромным полированным столом, за которым сидит очень бравый военный, увешанный орденами колодками. Садиться он мне не предлагает, а пока я сбивчиво излагаю суть дела, он морщится и нетерпеливо постукивает по столу автоматической ручкой.

— Вам отказано в полном соответствии с существующими на этот счет правилами . . .

— Но поймите, мальчику негде жить! Он ведь учиться должен . . .

— Я не могу входить в ваши семейные дела.

— Это не семейное, это общественное дело. Я не лишена по суду материнских прав. Мой старший сын погиб от голода в Ленинграде. По какому закону вы приговариваете меня к вечной разлуке с последним моим сыном?

Упоминание о правах и законах выводит полковника из равновесия. На меня обрушивается барский гнев. Шея полковника медленно краснеет под стоячим воротничком, и краснота постепенно проступает на щеках.

— Права ваши крайне ограничены. Вы забыли, что у вас поражение в правах на пять лет?

— Это поражение в избирательных правах. Но не в праве быть матерью своему сыну.

— Не собираюсь спорить с вами. Разговор окончен.

Эти слова он произносит совсем уже разгневанным, шипящим, как у гусака, голосом.

Но и я разгневана. И я пришла в состояние аффекта, в котором человек не отвечает за себя.

Высочив из отдела кадров Дальстроя, я перебегаю площадь под носом у грузовиков и влетаю в открытую дверь другого учреждения — управления Маглага. Формально Маглаг больше мной не заведует, я вольная. Но именно там сидит начальник Маглага товарищ Гридасова, мое последнее прибежище, та самая мощная инстанция, которая может вернуть мне Ваську.

Не обращая внимания на извилистую очередь у дверей, я влетела в «предбанник» — комнату личного секретаря Гридасовой. Никто из очереди почему-то не сказал мне ни слова. Был ли у меня такой безумный вид, что никто не решился остановить меня? Или просто не успели, потому что я пронеслась мимо них стрелой?

Только когда я дерзновенно ринулась прямо к черно-золотой табличке «Начальник Маглага», секретарша, остолбеневшая было от моего неслыханного поведения, опомнилась и грудью встала на защиту своей крепости.

— Вы с ума сошли! Люди ждут приема месяцами . . . Уходите сейчас же!

Сердце у меня хгдило маятником. Перед глазами стлался туман. Я не различала лица секретарши. Приметила только крашенные в яркий цвет волосы, янненным нимбом торчавшие над узким лбом. Кажется, она была выше и полнее меня. Но я бросилась на нее грубо и оттолкнула от дверей. От непредвиденности и дерзости моих действий она, видимо, растерялась. И я ворвалась, ворвалась-таки с криками и рыданиями в кабинет колымской королевы.

Позднее мне стало ясно, как я рисковала. Ведь королева, по общему мнению, умела не только миловать, но и казнить. Все зависело от момента, от настроения, от того, что сказало сегодня утром королеве ее заветное зеркальце. Она ль на свете всех милее, всех румяней и белее?

Что я выкрикивала сквозь рыдания, какие слова рвались из меня навстречу удивленному королевскому взгляду? Точно не помню. Но во всяком случае не о правах и не о законах . . . Инстинктивно я поняла, что этот мотив еще более далек королеве, чем полковнику Франко. Странно, я несомненно была в этот момент, что называется, в состоянии аффекта, но где-то подспудно шла во мне работа сознания. Я именно сознательно отбирала сейчас те слова, которые могли оказать воздействие на любительницу чувствительных кинофильмов, бывшую надзирательницу Шурочку Гридасову. Я выкрикивала именно те могущественные банальности, которые могли тронуть ее сердце. О материнских слезах . . . О том, что чужой ребенок никому не нужен . . . И о том, что сирота может сбиться с пути . . .

Ее бездумное красивенькое личико принимало все более растроганное выражение, и наконец нежный голосок прервал меня. Он прозвучал, нет, прожурчал прямо над моей головой:

— Успокойтесь, милая! Ваш мальчик будет с вами . . .

Потом пошла настоящая фантасмагория. Она нажала на звонок и приказала вошедшей секретарше взять бумагу и писать. Она не обратила ни малейшего внимания на жалобы секретарши по поводу моей неслыханной дерзости. Бумага, которую она продиктовала, была адресована тому же полковнику Франко. Депутат Магаданского горсовета Александр Романовна Гридасова обращалась в отдел кадров Дальстроя с просьбой оказать содействие в вызове из Казани ученика средней школы Аксенова Василия Павловича.

— Я боюсь идти к Франко. Он только что почти выгнал меня.

— А сейчас он будет говорить с вами совсем по-другому. Не бойтесь, милая. Не благодарите, милая! Я сама женщина . . . Понимаю материнское сердце . . .

Это «милая», которое она повторила несколько раз, делало ее особенно похожей на добрую помещицу, беседующую с благодетельствованной крепостной.

Через пятнадцать минут я снова стояла, нет, теперь уже сидела перед светлыми очами полковника Франко и наблюдала ряд волшебных изменений его милого лица при чтении бумажки от депутата Магаданского горсовета А. Р. Гридасовой. Параллельно переменах в лице шла и хроматическая гамма его речей.

— Как, опять вы? Я ведь сказал вам, что . . . Бумажка? Какая еще бумажка? Гм . . . Что же вы стоите? Садитесь! Гм . . . гм . . . Из Казани? Знаю Казань. Большой город. Университетский. Значит, фамилия вашего мужа Аксенов? Что-то как будто слышал в тридцатых годах. Жив? Не знаете? Гм . . . Ну что же! Средняя школа здесь хорошая. Будет учиться парень . . .

После таких приятных речей полковник взял свою автоматическую ручку и четко вывел наискосок в углу гридасовской бумажки одно — но зато какое! — слово: оформить!

Вечером, когда Антон пришел из больницы, я изображала все это ему и Юле в лицах. А ночью долго не могла заснуть, тарасила глаза в темноту и, казалось, различала в ней, как дрожат и колеблются весы моей жизни. На одной чашке — барский гнев, на другой — барская любовь. Такая капризная, причудливая, такая уязвимая, готовая ежеминутно иссякнуть . . .

(Наверное, я была — да и осталась — непоследовательным человеком. Но отдавая себе полный отчет в унижительности, в непереносимости барской любви, я все-таки испытывала тогда и испытываю до сих пор чувство самой искренней благодарности к этой королеве на час. Сентиментальность, право же, не главная опасность нашего времени, и хорошо, что державная Шурочка была способна если не к подлинным добрым чувствам, то хоть к чувствительности.

Судьба ее в дальнейшем сложилась жестоко. После разжалования генерала Никншова, после обнаружения связи Александры Романовны с другим, она оказалась в Москве с двумя или тремя ребятами на руках и с пьяницей-мужем. В ее пользу говорит, безусловно, и тот факт, что из периода своего единодержавного управления Колымой она не вынесла денежных запасов. И в шестидесятых годах ее телефонный звонок нередко звучал в квартирах реабилитированных, бывших объектов ее милосердия. Александра Романовна просила двадцатку до мужниной зарплаты. И никто из реабилитированных ей не отказывал.)

Продолжение следует



Хильда Вика. Книжечка



Первой работой Мары Залите для театра была драматическая поэма «Мара»; фрагмент из нее в русском переводе Людмилы Азаровой появился в журнале «Даугава», № 6 за 1985 год. И не теперь, задним числом, а тогда уже можно было сказать, да и было сказано, что это событие. Событие и поворот не только в жизни автора. Некое «и вдруг», столь необходимое во всяком занимательном повествовании, требуется и возникает рано или поздно и в обыкновенном течении жизни, в том числе жизни литературной. «Мара» (название в оригинале гораздо длиннее) сделалась таким «и вдруг»; не утверждаю, что мнения о ней совершенно единодушны, но сказать или сделать вид, что ничего не произошло, не мог бы ни один свидетель тогдашнего драматургического дебюта М. Залите.

Это «вдруг», это тогдашнее «ах» осталось навсегда именно при первой пьесе и первой ее постановке. Вторая драматическая поэма «Суд», третья — «Живая вода» — уже не были и не могли быть такой неожиданностью. Но вот уже недавно снова открытием, снова неожиданностью оказалась рок-опера «Лачплесис» (либретто М. Залите, музыка З. Лнепиньша), собравшая тысячные... даже не скажешь — толпы: слово оказывается неподходящим... многотысячные встречи единомышленников и современников, которым довелось увидеть несомненное национальное возрождение латышей, пробуждение, не боюсь сказать, того духа Лачплесиса, который казался уже кому-то постоянным вымыслом. Оглушительный успех рок-оперы — ладно бы у молодежи, — нет, у всех поколений, вдохновение и полная самоотдача исполнителей...

Ну хорошо. Успех, попадание «в десятку», последующее признание, премия и прочее — бывает. Здесь налицо и другое: общественное содержание события. Чтобы угадать, чтобы поспеть с чем-то, по чему люди, сами о том не догадываясь, изголодались, нужно не угождать и не применяться к ожиданиям. Нужно воплощать эти ожидания, нужно быть той самой жаждой, и ощутить ее в себе гораздо раньше, чем она вызреет и будет осознана всеми. Разумеется, речь о свойстве, вполне рядовом, неизбежном для поэзии... Но здесь именно оно, вот это из многих проявлений поэзии, выглядит чуть не решающим.

Что такое «Мара»? Сказка. Почти цитата из латышского фольклора, — а кто ж из писателей Латвии, из ее поэтов и драматургов не обращался к фольклору? Что тут можно извлечь? Еще одну стилизацию? Еще один перепев того, что живет и само по себе? Нет, не было стилизации. Знакомые по сказкам волшебные дары: скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, шапка-невидимка, были отданы персонажам «Мары» и сделались для них испытанием. Жестко, требо-

вательно и горько вглядывалась Мара Залите в своих героев, в свой собственный народ, не желая ни лстыть, ни умиляться, ни обманываться первыми попавшимися ответами. И так нелегко был новый, непривычный спрос, так остры неожиданные акценты, так резко освещение, что, пожалуй, подобное не простили бы чужому взгляду, не столь любящему, не столь явно дочернему что ли. Не буду здесь пытаться рассказать о «Маре»; напомним только, что каждое из «даровых» счастлих, не обеспеченных собственным страданием и трудом, усилением духа, оказалось проклятием для очастливленных. Потребительство, духовная спячка, бесплодность даже и творчества, не одушевленного чем-то высшим, нежели просто потребность творить . . . — если об этом говорить, вытаскивая и отделяя голое назидание от живой плоти поэмы, ничего не расскажешь. Остается еще раз сослаться на опубликованный по-русски фрагмент пьесы.

И вот еще одна драматическая поэма, «Суд». Преемственность темы и, как любят говорить на театре, «сверхзадачи» налицо. Опять обращение к фольклору — не внешнее: заглядывание в этот колодец с надеждой не обмануться, вернуться и дойти до сути сегодняшнего и всегдашнего (фольклор, как икона, не знает времени и не знает пространства в обычном смысле того и другого слова). «Всегда» народной сказки и песни — вечно настоящее, вечно прошлое, вечно будущее. Фольклор, как здоровый ребенок, рядом со смертью выглядит сплошной частицей «не».

Мара Залите использует любимый ею прием грандиозной цитаты. Отсюда подзаголовок: драматическая поэма с цитатами по мотивам книги Гарлиба Меркеля «Латыши, особенно в Ливонии, в исходе философского столетия».

Тут необходимо сказать несколько слов о цитируемом литераторе. Его имя известно каждому латышу. Немецкий публицист и писатель Гарлиб Хелвиг Меркель (1769—1850) прославил свое имя прежде всего именно этой книгой, впервые выступив с обличением жесточайшего рабства, в котором немецкие бароны веками держали латышских крестьян. Остзейские дворяне отметили труд Меркеля таким потоком ненависти и поношений, равному которому во всех веках и странах поискать. Книгу, вышедшую во многих странах, было запрещено переводить на латышский язык, и запрет этот действовал более 110 лет, вплоть до 1905 года. В Германии, куда писатель надолго уехал из родной Лифляндии, он сблизился с Гердером, Виландом; как журналист и литератор жестоко спорил с «самим» Гете . . .

Но вернемся к драматической поэме Мары Залите. Действие происходит в богатой усадьбе в «день Мартыня», — осенний крестьянский праздник, сохранившийся, как и летний Лиго, почти все черты древнего языческого праздника

Персонажи пьесы — ряженные, обыкновенные маски народного латышского маскарада. Герои пьесы как бы лишены своих собственных лиц, и даже характеры их оказываются в полном соответствии с их ролями. Выпив пива, ряженные своим буйством раздражают господина, который и приказывает запереть всю толпу в подвале.

Пьеса «двухэтажна». Внизу — мужики, наверху в тепле и роскоши собираются высокородные господа: на утро наступающего дня намечено заседание суда. Судья и три заседателя, все помещики, должны рассмотреть дела простолюдинов — Андриевса, который убил родного брата, пропившего его последние деньги, Маде — молодой матери, нарочно заразившей своих детей черной оспой, чтобы не делиться с ними последним куском; Пьяница и Ворожея обвиняются соответственно в пьянстве и колдовстве.

Защитником на процессе выступает совсем еще молодой Гарлиб Меркель. Высокородные господа с крайним отвращением осуждают злодеяния обвиняемых. Молодой адвокат с пылом защищает их. Реплики и помещиков и защитника буквально перенесены из книги «Латыши . . .». Главный довод Меркеля, друга латышей, состоит в том, что до скотского состояния, до ужасающих преступлений обвиняемые доведены самими господами, тиранией многовекового рабства. Высокий суд, слыша это, врет и мечет. Любопытно, что за пределами своего планаторства высокородные господа или некоторые из них не прочь прослыть людьми просвещенными, в духе века . . . Этих-то, пожалуй, обличения «мальчишки» особенно бесят.

Суд, как и сама пьеса, двухэтажен. Внизу, в подвале, обвиняемых вновь подвергает допросу . . . сама Смерть. Тут, конечно, условность: служанка, нарядившаяся Смертью, вроде бы обманом внушает приведенным в подвал об-

виняемым, что не ряженая она, не маска, а Костлявая собственной персоной. Перед таким судьей не соврешь . . .

Что самое поразительное — как бы подвергается суду и сам молодой, пылкий защитник. И главный его довод — да, латыши низведены рабством до степени животных, но господа сами же в этом повинны, — оказывается не вполне приемлемым, ложным. Народ сохранил в себе ту строгость и высоту моральных мерок, о которой просвещенный правдолюбец не подозревает. С высоты песни, из глубины обычая и древнего неписаного закона народ судит своих детей жестче, безжалостней самых беспощадных господ. Он не признает ни крайнюю нищету, ни рабство, ни голод оправданием для преступления. Ворожея — главный судья в этом главном суде — выступает от имени прошлого и будущего, и странно теряют вес на наших глазах действительно искренние и действительно человеколюбивые высказывания защитника латышей. Благородство его помыслов ничуть не подвергается сомнению. Однако . . . Есть другой масштаб суда, и ничья внешняя помощь, ничья снисходительность и поддержка не помогут народу, который не сумеет судить о самом себе, судить самого себя полной мерой человечности и истины, и еще — не забыть бы — красоты, воплощением которой, живым и неподдельным, выступает в драматической поэме народная песня.

Залертые в ледяном подвале, ожидающие жестокой расправы крестьяне не себя жалеют . . . Бога, бедного Боженьку, который осиротеет после смерти народа, — вот кого пожалела их песня:

Куда денешься ты, Боженька,
Когда все мы перемрем,
Когда под зеленый дерн
Все мы спать уляжемся? —

и песня снизу, из подвала доносится до господских покоев, вызывая в могущественных судьях злобу и ненависть, как будто вовсе несообразную происшествию. На самом деле — все соразмерно: эта красота, эта печаль, эта волна человечности, возникающая из-под ног, меняет местами судей и подсудимых. Все «права», все благополучие господ, основанное на порабощении живого народа, все оказывается зыбким, теряет почву.

Нет, право же это непростой суд . . .

Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ

С У Д

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭМА С ЦИТАТАМИ

по мотивам книги Гарлиба Меркеля «Латыши, особенно в Ливонии,
в исходе философского столетия»

[ФРАГМЕНТ]

Перевел Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ

Действующие лица:

Ряженные — Коза, Волк, Журавлиха, Петушок, Смерть, Мертвец, Колна.

Суд:

высокородный господин Ц. — судья; высокородные господа А., Б., Д. — заседатели.

Меркель — защитник.

Судебный писарь.

Слуга.

Обвиняемые: Андриевс, Маде, Пьяница, Ворожея.

Лайма.

Слуга вталкивает в подвал Андриевса, Маде, Пьяницу и Ворожею. Те не сразу привыкают к полутьме, царящей в подвале. Высвечивается фигура Смерти. Остальных ряженных не видно. Вновь пришедших охватывает суеверный ужас. Только Ворожея не теряет самообладания.

СМЕРТЬ. Вы узнали меня, так ведь?

ВСЕ. Как же не узнать? Узнали!

СМЕРТЬ. Отвечайте: кто я есть?

ВСЕ

(пяться). Смерть! Смерть!

СМЕРТЬ. Страшно вам?

Значит, вы меня не ждали?

МАДЕ. Нет!

АНДРИЕВС. Еще нет приговора!

СМЕРТЬ. Все вы, стоящие сейчас передо мной, Готовьтесь дать ответ. Излейте душу, Припомните всю жизнь свою и все, Как на духу, лицом к лицу со Смертью Выкладываете. Слышите же, — все! Излейте душу, выверните сердце. Как солнце увидали вы впервые, Птиц услышали иль цветков сорвали, Какую песню мать над колыбелькой Певала вам. Старайтесь все припомнить! И как вы крали, как вы убивали. Кто хуже всех из вас? Кто всех подлее?

Маде, Андриевс и Пьяница подаются вперед в ожидании.

Коснусь того из вас, кто всех подлее, Кто хуже всех, — он в тот же миг умрет.

Все трое отшатываются.

Так кто ж из вас? Кто первым встретит смерть?

ПЬЯНИЦА. Он! Он прирезал брата!

Всех виноватей он!

А та детей убила,

Уж дальше-то куда?

А третья — ведьма. Вот!

СМЕРТЬ. А кто ж ты сам?

ПЬЯНИЦА. Я только пил, сударыня.

СМЕРТЬ. Ха! Ха! Ха!

ПЬЯНИЦА. Ни капли крови на руках моих.

А этот вон — убил родного брата,

А та, Бог сохрани, — своих детишек.

А третья — ведьма, водится с нечистым,

Кто знает, что тайком они творят.

Я ж — пьяница, и нет на мне вины.

Почтеннейший немецкий господин

Там, на суде, сказал, что всюду пьют.

Так что ж такого, ежели согрешит

Мужик да сдуру водочки хлебнет.

СМЕРТЬ. Не так уж глуп ты и, как посмотрю,

Речист, в карман за словом не полезешь.

АНДРИЕВС. Он вор, он жулик, врун последний, падаль!

Пьяница. А ты — убийца!

СМЕРТЬ
(Андриевсу). Встань поближе к Смерти.

Скажи: я виноват. Коснусь тебя,

И ты умрешь, и вмиг свободен будешь.

АНДРИЕВС. Не виноват я!

СМЕРТЬ. Брата не убил ты?

Андриевс в ужасе дрожит, но не отвечает.

- Зачем ты исполнял мою работу?
 Что можно мне, то вам запрещено.
 От одного отца вы с братом были,
 От матери одной?
- АНДРИЕВС.** Не прикасайся!
 Я невинный! Невинный я!
- СМЕРТЬ.** Да, мать одна у нас, один отец.
 Росли вы вместе? Бегали, играли,
 Жучков ловили в свежей мураве,
 Все вместе, да? И радости, и беды?
- АНДРИЕВС.** Ох, больше беды. Вместе были, вместе.
- СМЕРТЬ.** И ты его прирезал, как свинью.
 Как было это? Отвечай по правде,
 Ведь мне не врут.
- АНДРИЕВС.** Он не почуял боли,
 Ведь я его ударил прямо в сердце.
- СМЕРТЬ.** И повернулся у тебя язык
 Сказать: я невиновен?!
- АНДРИЕВС.** Погляди:
 Кто я? Крестьянин глупый. Скот тупой.
 Все это жизнь устроила со мной.
 Знай, Смертушка, что там вон, наверху,
 Был за меня один ученый немец.
 Он им сказал . . . он так им и сказал . . .
- СМЕРТЬ.** Другой здесь суд — защитников тут нет.
 Так что ж он мог сказать, тот самый немец?
- АНДРИЕВС.** Слова там были, знаешь, так умны,
 Что в голове моей не удержались.
 Я только помню, что всему виною
 Не я, а наша жизнь. Не я! А жизнь.
 Я ж — ни при чем, и ты меня не трогай.
- ПЬЯНИЦА.** Вот-вот, со мной, сударыня, все так же.
 Будь жизнь получше — я бы лучше был.
- СМЕРТЬ.** Ха! Ха! Ха!
- Обращается к Маде.*
- А ты? И у тебя есть оправданье?
 Выкладывай!
- МАДЕ.** Тот барин, немец тот . . .
 Он понял, он сказал, что я безвинна.
Из темноты слышится песня ряженных:
 Я у матушки родимой
 Как в груди сердечко,
 Как в груди сердечко,
 Как в саду цветочек.
 Матушка моя меня
 Во любви растила.
 По грязи сама пройдет,
 На руках меня несет . . .
- МАДЕ.** *Из хора выделяется детский голос Петушка.*
 Бог мой, я просто не могла уже.
 Что ни кусок, ни крошка — им отдай.
 А девушки другие, без детей,
 Те всегда поевши и поспавши.
 Они, мои . . . непрошено пришли.
 Еще другие стучались, просились.
 Ан не пущу, теперь-то поумнела.
 Как плодовита ты, моя утроба,
 Будь проклята, зачем ты все родишь!
- ВОРОЖЕЯ.** Будь проклята посмевавшая проклясть
 Свою утробу и свои колени.

- МАДЕ.** А девушки другие, без детей,
Те всегда поевши и поспавши.
А детки обратились в ангелочков.
Безвинна я. Ой, голосок! Мой сын!
Сынуля мой! . .
- Маде идет в ту сторону, где поют ряженные.*
- СМЕРТЬ.** Стой ты, несчастная. Детей твоих там нет.
Их нет нигде. Сама, своей рукою . . .
- МАДЕ.** Нет, нет! Да, да! Они ведь ангелочки.
И хлеба в доме не было уже.
Вот господин хороший, немец, понял:
Я без вины.
- СМЕРТЬ.** Так все вы невиновны? Ха! Ха! Ха!
Безвинны все. Ну что же, хорошо.
Вы думаете, может быть, что Смерть —
Старуха нелюдима и злая?
Ну нет, я шутки до смерти люблю!
Я пошутила, вам сказав, что я
Сейчас же, здесь же заберу виновных.
Да: смерть люблю, признаюсь, пошутить!
На самом деле я невиноватых
Убью. А виноватых — тех не трону.
Спасу я невиновных от стыда,
Умрут сейчас, а не в позоре, в муках.
Вы невиновны? Подойдите. Я
Коснусь . . . и все. И — ни стыда, ни боли.
- ВОРОЖЕЯ.** Смерть милосердной. Хватит — ты не Смерть.
Не мучит та — от мук освобождает,
Не спрашивает — знает все сама.
Не задает вопросы — отвечает.
Смерть не глумится, как глумишься ты!
- Остальные не слышат Ворожею, им не до того.*
- ПЬЯНИЦА.** Ах, госпожа, я виноват во всем.
Ну как же нет, когда кругом виновен!
Я пропил дом. Жену свою, детей,
Что пухнут с голоду . . . Да, виноват, я знаю!
Я врал, я крал, все промотал, что мог,
И даже имя: было — фьють — и нету!
Да, я пропойца, я же еще и вор.
Как многие — стащу любую вещь,
Коль не на привязи она. Привяжут — что же,
Приду и отвяжу, а там стащу.
Вы, барыня, не трожьте уж меня.
Я поначалу врал. Виновен! Каюсь!
- АНДРИЕВС.** Убил я брата? Значит, что виновный.
Мы были близнецы. Родного брата
Убить не можно . . . Ты ведь знаешь, Смерть,
Сама сказала. Вишь ты, — виноват я.
Пускай меня засудят господа,
Ты только, Смертушка, погоду, не трогай.
Не подходи! Не время! Не хочу!
Мне рано помирать! Я виновата,
Не прикасайся! . .
- СМЕРТЬ.** А ты? Тебе молчать дозволил кто?
Ты ведьма? Это правда? Отвечай-ка!
- ВОРОЖЕЯ.** Сперва посмотрим, кто такая ты!
Срывает маску со Смерти. Все видят, что одурачены. Пьяница и Андриевс набрасываются на Смерть, та бежит от них в темноту
Появляются ряженные, удерживают преследователей.
В душе Маде свершается внутренний суд. При виде ребенка она
вовсе теряет разум: ей кажется, что это ее сын.

МАДЕ. Как вырос ты, сынок, сыночек рódный.
Куда ты уходил от мамы? Счастья
Небось искал? Ты с мамой поделись,
Дай крошечку ей, ма-ахонькую, счастья . . .

Ребенок боязливо прячется.

Иди ко мне, не бойся! Раз ты вырос,
Тогда живи!

**ЖУРАВ-
ЛИХА.**

Оставь его в покое.
Не видишь, что ли, он тебя боится?
Не твой он сын, несчастная . . . Твои . . .
Не плачь, они теперь уж ангелочки,
В садах небесных яблоки срывают,
В лугах небесных мнут цветы . . . Не плачь!

*Пьяница, Андриевс гонятся за Смертью. Ряженые теперь без масок.
Смерть скрывается за их спинами.*

СМЕРТЬ. Вы, мерзкие, трусливые собаки!
Ну, ну, вояки, — а не вы ль недавно,
Как черви, перед Смертью пресмыкались,
Готовы были Смерть саму — убить,
Чтоб только выжить ненадолго . . . Ха!
До приговора. Ждите! Вас повесят!

АНДРИЕВС. Вот бешеная!

Как баба может быть такой гадюкой —
Без жалости, без сердца, бог ты мой!

ПЬЯНИЦА. Без сердца, да. А все же хорошо,
Что так все кончилось. Нет, правда,
Нам повезло, что э т а Смерть — не т а.

СМЕРТЬ. И та вас тоже ждет.

МАДЕ. Ждет, тоже ждет,
Как мать ждет дитя: возьмет на ручки
И покачает . . .

ВОРОЖЕЯ. Хватит, ты не Смерть.

Не мучит та — от мук освобождает,
Не спрашивает — знает все сама
И не глумится так, как ты глумишься.
Добилась своего! Что в них живого
И было — то на миг лишь показалось
И умерло вот здесь, перед тобой.

ПЬЯНИЦА. Я был бы трижды жив,
Когда б нашлось что выпить.
Смерть? К черту, что мне смерть.
Пускай они боятся,
Убийцы.

Тех, кто пьет,
Пока что не казнят.
Нас много, что с нас взять . . .

Ну да, таскать — таскал,
Коль вещь лежала плохо.

Я что, один такой?
Все, если могут, тащат.

И я такой, как все,
Почти что без вины.

ВОРОЖЕЯ. Ты? Без вины?

Пропивший свое имя,
Отцову землю, дом свой, стыд и честь?
Ты стал проклятьем для детей своих,
На семь колен падет проклятье это,
Как меч вися над головой потомков.
Ты зло посеял. Это зло вложил
В тела и души тех, кто не родился.

Безвинные, они придут на свет
Уродами, калеками тупыми.
Что начал ты, продолжится. Ни честь
Вовек не исчезает, ни бесчестье.
Корявый твой посев — он даст ростки.
Давно ты станешь прахом. Но проклятья
Детей и жен догонят даже прах.
Ты в будущее черный деготь льешь,
В тот мед, который пчелы терпеливо
Собирают час за часом, век за веком,
Ты, ухмыляясь, черный деготь льешь . . .
Ты — «просто пьяница»? Корявый твой посев,
Когда взойдет, отравит ядом всех.

ПЬЯНИЦА. Умру сейчас, коль выпить не дадут.
ВОРОЖЕЯ. Ты не умрешь! Посев семена,
Бессмертен ты.

ЖУРАВ-
ЛИХА. Оборои господь
От этакого жуткого бессмертья.
ПЬЯНИЦА. Кончаюсь, кончен, помираю. Все.

Волку.

Друг, у тебя хоть капли не найдется?
Конец. Всему конец.

КОПНА. Не сдохнешь. Тыфу, проклятый забулдыга!
МЕРТВЕЦ. Таких учить бы розгой. Сечь и сечь!
КОЗА. Бедняга, он ведь мучится взаправду.

ВОЛК. А вдруг помрет — у всех нас на глазах?
ПЬЯНИЦА. Похмелье. От него не умирают.

ПЬЯНИЦА. Я бы не пил, когда б счастливым был.
Достать бы только выпить — был бы счастлив.

СМЕРТЬ. Видали! Был бы счастлив — он не пил бы,
А выпить дай ему — он будет счастлив.
Ха! Ха! Наш пьяница не так уж глуп.

МЕРТВЕЦ. «Наш пьяница». Не наш он — из чужих!
У нас в поместье пьют, да знают меру.

ВОРОЖЕЯ. Своя земля, и нет на ней чужих.
Наш пьяница. А в будущем — убийца,
Который убивает через годы.

СМЕРТЬ. Вот кому бы не мешало
Язычок укоротить!
Ишь, нашлась на всех судья.

А сама-то, а сама-то —
Далеко ль от них ушла?

А насчет себя — молчок.
Речь-то в сторону уводит
От своих делишек темных,
Ровно чибис от гнезда!

МЕРТВЕЦ. Пусть ее! Поджарят завтра
Ведьму эту на костре.

ВОЛК. На костре не жгут теперь.
МЕРТВЕЦ. Да? А жалко. Не мешало б
Эту ведьмочку поджарить
Хорошенько на огне.

КОЗА. Что, забыл? И ты в тюрьме,
А не на лужку у речки.

МЕРТВЕЦ Так и вижу десять розог . . .
ВОРОЖЕЯ. Розог будет трижды десять.

МЕРТВЕЦ. Тихо, ведьма, что плетешь!
Тридцать — верной смертью пахнут.

ВОРОЖЕЯ. Смерть — тебе. Другим — упорство.
МЕРТВЕЦ. У-у, проклятая колдовка, упыриха!

- ПЬЯНИЦА.** На коров наводит порчу.
КОПНА. Насылает оспу, мор.
АНДРИЕВС. Змей разводит, гад ползучих!
МАДЕ. Малых деточек ворует
И утаскивает в пекло!
КОПНА. И с чертями дружбу водит!
АНДРИЕВС. Может, все, что случилось с нами, —
Колдовские злые чары?
ПЬЯНИЦА. Так и есть — ее вина.
ВОРОЖЕЯ. Ну а если так? А если
Я скажу — моя вина?
Виновата, что ты пьешь.
Ты убил родного брата —
Виновата.
Что детей твоих сама ты . . .
Если я вам всем скажу —
Виновата?!
- ЖУРАВ-
ЛИХА.** Замолчи! Неправда это.
Человек один не может
Быть настолько виноват.
- МЕРТВЕЦ.** Челове-ек! А это — ведьма.
Может волком обернуться,
Может змеем — кем захочет.
- КОПНА.** Обернется кем угодно.
ВОЛК. Кто ж сегодня верит, люди,
В эти рассказы!
- КОЗА.** Да, правда:
Нынче даже странно как-то
Верить в эту ерунду.
- ПЬЯНИЦА.** Ведьма! Чертова колдунья!
Мне бы выпить хоть глоточек,
Ух бы, я ей показал!
Налетела, разоралась!
Я, что ль, брата уколошил?
Я, что ль . . . Эх, смочить бы глотку!
- АНДРИЕВС.** Брат был пьяница, как ты,
Скот и падаль. Что жалеть-то!
От него все зло пошло.
- ВОРОЖЕЯ.** Кровь одна! Одна ведь кровь.
Брата кровь — она ж твоя.
Пролил ты — она течет.
Сквозь одежду. По рукам.
С пальцев капает. Уже
Краем неба просочилась.
Дальше, к солнцу потекла.
Сквозь одежду, через тело —
Чуешь кончиками пальцев? —
Вытекает из тебя . . .
- ЖУРАВЛИХА.** Как-нибудь. Свернется кровь-то,
Язву как-нибудь затянет.
Что ты сыплешь соль на раны?
Этак боль убьет его.
- ВОРОЖЕЯ.** Нет, он будет жив, покуда
Будет боль его жива . . .
- ЖУРАВЛИХА.** Пожалеть заблудших надо,
Поберечь от лишней боли,
Жар угóльев затушить.
Дать надежду: жди, мол, — счастье
Нас найдет, терпи, держись.
Раны бередить — не дело.

- Пожалеть, утешить надо,
Сад мечты воздвигнуть в сердце
И позвать туда людей.
Знайте — вас, мол, ищет Лайма . . .
- АНДРИЕВС.** Почему мне счастья нету?
Мне бы только бы те деньги,
Что я выручил за лен.
Счастье есть у каждой твари.
Где ты, где ты, счастье? Я ли
Не гонялся за тобой!
Лайма, где ты запропала?!
- КОПНА.** Много ль мы ее видали?
Но никто ж не убивает
Брата, коли счастья нет.
Забрела куда-то Лайма . . .
- ВОЛК.** Я-то знаю, я-то знаю:
Вот мое, — глядите! — счастье.
- Указывает на Козу.*
- МЕРТВЕЦ.** Хе-хе! Счастье!
Барин тоже ведь не промах,
Он тебе покажет счастье.
Позовет ее, прикажет —
Согревай ему постелю . . .
- ВОЛК.** Сто чертей им в глотку! Дьявол!
Задушу! Сомну, как тряпку!
- МЕРТВЕЦ.** Во, люрует, во, бушует!
Сам уже готов в убийцы.
Чем ты их, вот этих, лучше?
Если счастье отнимают!
- ВОЛК.**
ЖУРАВ-
ЛИХА. Не шуми! Ищи, чем душу
Успокоить, а не ранить.
И со всеми добрым будь.
- АНДРИЕВС.** Мне бы счастья хоть чуточек,
Я бы стал из добрых добрым.
- ЖУРАВ-**
ЛИХА. Нет: сначала ты будь добр,
Без добра не будет счастья.
- КОЗА.** Журавлиха, ты добра, —
Много ль счастья повидала?
- ВОЛК.** Доброты без счастья нет.
Счастья нет — и мы звереем.
- МАДЕ.** Счастье . . . Детки мои, детки,
Ангелочки . . . Хорошо вам
В синих-синих небесах?
- ВОРОЖЕЯ.** Что наверх глядишь? Там пусто.
Ждет нас мать-земля сырая,
Забирает всех к себе.
Бедная . . . Конец твой близок.
Ты сама свое бессмертье
Черным ядом отравила.
Цепь в роду твоём ковалась, —
Ты рассыпала ее,
Цепь порвалась и пропала.
- ЖУРАВ-**
ЛИХА. Бить лежачего нельзя.
Пожалеть в несчастье надо.
- МАДЕ**
(ищет
ребенка). Маленький, ты где, ты где?

- СМЕРТЬ.** Ведьма! От себя уводит,
Словно чибис от гнезда.
Признавайся, в чем повинна?!
- ВОРОЖЕЯ**
(вызывающе).
Моя вина — что этот пьет.
Моя вина, что он крадет.
Моя вина, что брата он . . .
Моя вина, что та — детей . . .
- СМЕРТЬ.** Ишь ты, дурочку валяет!
Это все чужие вины.
Ты свою скажи нам. Скажешь?
- ЖУРАВ-ЛИХА.** Никакой вины. Она ведь . . .
Ведь она . . .
- ВОРОЖЕЯ.** Никакой вины?
Человека нет на свете,
За которым нет вины.
Но одни в ней сознаются,
А другие — никогда.
И за мной вина.
- СМЕРТЬ.** Какая?
- ВОРОЖЕЯ.** А какую вы хотите:
Ту, что господа отыщут?
Настоящую вину?
- СМЕРТЬ.** Настоящую!
- ВОРОЖЕЯ.** Я не знаю заклинанья,
Слова, чтобы вызвать счастье.
Слово для дождя я знаю.
Слово для чумы я знаю.
Словом крови и змеиным
Словом я владею тоже.
А для счастья — нет и нет.
- КОЗА.** Может, нет такого слова?
- ВОРОЖЕЯ.** Слово есть. Мать говорила.
День за днем его ищу я.
Скольким в душу заглянула —
Всем, кого в пути встречала.
Все лари, в которых память
Спрятана, я перерыла.
И в своем смотрела сердце.
Говорила мать, что болью
Рождено то слово будет.
- ЖУРАВ-ЛИХА.** Болью? Значит, боль нужна.
- КОЗА.** Ну и что? И где же слово?
- ВОЛК.** Может, в старых книгах где-то?
- ВОРОЖЕЯ.** В старых — старые слова.
Сызнова искать должны мы.

ЧЕРНЫЕ КОСТРЫ СПИТАКА

ВОЗДУШНЫЙ МОСТ

Неделю я не видел телевизора, не слушал радио, не читал газет. Ни первого, ни второго в зоне бедствия не существовало. Газеты каждое утро привозили к развалинам почты, скидывали рядом с двумя автобусами, в которых расположилась временная телефонная станция, и каждый мог брать их сколько хотел и каких хотел — бесплатно: в эти дни в Спитаке денег тоже не существовало. Хлеб, минеральная вода, еда — все лежало на улицах, и думать об оплате было дико. По привычке набивал газетами карманы пуховки и я, но они так и валялись непрочитанные в той палатке, где мы разместились. Читать не было ни желания, ни сил.

Так что я не буду приводить цифр об огромном размере помощи, хлынувшей в Армению, не буду перечислять количество отрядов и число людей, копошившихся на развалинах города, — этих точных данных в те дни в Спитаке, кажется, не было ни у кого.

Помощь в самом деле была огромна, и я воочию убедился в этом в последний день, когда шел вдоль взлетной полосы Звартноца, ереванского аэропорта, и, то и дело сбываясь, считал разноцветные фюзеляжи лайнеров («Это что за самолет — белый, с зеленым флагом?» — «Да это ливийский. А рядом — израильский.»)

Я буду говорить только о том, что сам видел, слышал, о чем думал. О том, что мы делали своими руками — не дай бог, чтобы нам пришлось еще раз заниматься такой работой. . .

О помощи, оказанной Латвией, как нам казалось, во всесоюзных средствах

массовой информации говорилось непропорционально мало (нет, не в счетах дело), но спасатели из Львова и Киева, строители из Иванова искренне завидовали нам, когда мы рассказывали о чартерном рейсе, незамедлительно предоставленном нам Латвийским управлением, о том, как без задержки садилась мы в самолет и после краткого напутствия Александра Захаровича Сухорукова, начальника «Ригапромстроя» («Не уроните чести . . .»), уже через три часа были в Ереване.

Салон стал наполняться говором; кто-то раскинул партню в «дурака», но в этом не было ни легкомыслия, ни кощунства. Нельзя все время быть в застылости напряжения, в скованном ожидании встречи с ужасом и смертью. Судорожная суматоха последних приготовлений, в ходе которых нельзя было забыть ни флажки, ни ложки (мы должны были быть полностью автономны, и я вез с собой в рюкзаке и примус, и одеяло, и еду как минимум на неделю), наконец разрешилась движением, стремительным движением к точке, где мы будем нужны, — и наступило расслабление, для которого в последующие дни и недели уже не будет места.

Вместе с отрядом «Ригапромстроя» ехала группа альпинистов-спасателей, которых собрал Аркадий Кричевский; его имя было записано первым в списке тех, кто приходил и звонил в Комитет помощи Армении, предлагая свою помощь. На их долю должна была выпасть роль своеобразного штурмового отряда: первыми добравшись до Спитака, не только работать на развалинах, спасая людей, но и готовить место для

латвийского отряда. Пока они, по профессиональной привычке сразу же погрузившись в сон, посапывают в хвосте самолета, я хочу назвать их всех: Аркадий Кричевский, Бенно Эйдус, Александр Гильман, Карлис Камрадзис, Янис Ионикан, Юрий Поляков, Муса Серазетдинов, Николай Хощинский. Надо ли говорить, что этот отряд был воплощением подлинного интернационализма, и надо ли говорить, как осмелили бы любого, кто осмелился бы пустить в ход столь высокопарные выражения...

В Звартноце мы оказались вечером и, перетавив тюки с вещами, вышли на стылый тепловатый воздух покурить с Валдисом Берзиньшем, начальником стройучастка станции Крустпилс.

— Со мной парень один летит, — сказал он, — вместе работаем. Не буду его называть. Он совсем пропащим считался, в Олайне лечился. Но объявили о сдаче крови, он первым пошел, и я подумал — есть в нем что-то человеческое, надо его взять. — Он крепко затынулся и покрутил головой. — А сам я с одним паспортом и военным билетом полетел, два рубля в кармане, целый бой с женой пришлось выдерживать...

— Валдис, — спросил я, — почему вы здесь?

Он посмотрел на меня прищуренными глазами.

— Я тебе отвечу сразу, чтобы ты больше не приставал с вопросами. Три года назад я похоронил дочку. Ей было девять лет. И я здесь, чтобы дети не погибали...

Нас ждал Артак Богдасарян, и мы поехали в Ереван, чтобы утром самим добираться до Спитака. Художник журнала «Гарун» был высок, тонок и изящен. Он шел сквозь толпу, как рыба сквозь водоросли; у него были легкие пластичные движения и точная образная речь, и мы слушали его едва ли не до рассвета, потому что Артак был одним из первых, кто оказался во вздыбленном Ленинакане.

— Толчок мы почувствовали и здесь, в Ереване: выплеснулась вода из ванны. Но не обратили внимания. И лишь потом, когда по радио стали раздаваться сообщения, что нужна кровь, мы поняли, что дело серьезное, и бросились на помощь. Дороги были забиты машинами. Все мчались в Ленинакан и Спитак, покидав в багажники все, что нашлось под руками — одежду, еду, воду, но все уступали дорогу автобусам

с надписью поперек ветрового стекла «Карабах»: комитет был там в самые первые, самые страшные дни и часы и вел за собой людей. В Ленинакане был ад — и поверьте, это не преувеличение: полная темнота (мы прибыли туда к одиннадцати вечера), крики сходящих с ума людей, столбы пыли, чудовищные силуэты развалин, переплетение рваной арматуры... Мы кинулись разбирать школу, и сразу же стали наткаться на детские изуродованные трупы. Через полчаса меня вырвало. Над нашими головами стояли матери, и мы слышали их стоны и плач. На моих глазах умерла женщина, увидев тело своего ребенка. Уже через час я отодвигал попадающиеся трупы... как доски. Мы рвались к живым. Приходилось головой вперед залезать в щели и расщелины, окликая тех, кто еще мог уцелеть. Было ли страшно? Нет, не так... В груди был холодный ужас, от которого все сжималось. Ведь в любую минуту все могло рухнуть, и каждый не мог этого не понимать. Я не знаю, сколько детей мы вытащили — поднимали их наверх, передавали взрослым и снова шли в развалины. Вокруг была всеобщая растерянность, никто ничего не понимал и не знал, что надо делать. Растерялась в эти минуты даже армия. Мы работали в темноте, и нам был нужен свет фар — осветить проемы. Я подбежал к полковнику, стоящему рядом с танком, и попросил его передвинуть машину, чтобы свет фар освещал развалины. «Я не могу — сказал полковник, — у меня нет приказа... Кто возьмет на себя ответственность?» Скажи мне месяц тому назад, что я буду командовать танками, я бы счел это шуткой, но тут я закричал, что ответственность беру на себя... И танк пошел куда надо, и светил нам, и полковник делал все, что мы ему говорили. Еще о растерянности или, точнее, о нашей тупости, перед которой бессильно даже землетрясение. Из-под развалин бакалейного магазина раздавались крики женщин, но мы не могли прорваться туда: путь нам преградили солдаты с десантными автоматами: у них был приказ охранять магазины и прочие учреждения с материальными ценностями... Мы работали в Ленинакане несколько дней, и когда я вернулся в Ереван, мне показалось, что лица у людей потемнели и они никогда больше не будут смеяться.

Артак замолчал. Молчали и мы, потому что завтра нас ждал Спитак.

АПОКАЛИПСИС

Я не знаю точного энциклопедического значения этого слова. Но я знаю, как он выглядит. Потому что я был с Спитаке.

Описывать его бесполезно. Многие видели его по телевизору. Как можно описать двадцать квадратных километров развалин, поля щебня, вставшие дыбом бетонные панели, расщепленные кровати и стулья и раздавленные детские игрушки...

Удар пришелся по Спитаку примерно без двадцати двенадцать дня. Старики сидели по домам, школьники ждали большой перемены, малыши из детского садика гуськом торопились на обед — а потом мы раскидывали обломки в поисках тех, кто не успел, заигрались, сесть на стульчики в столовой.

Удар был такой силы, что «Волги» подлетали в воздух, как мячики, люди не могли устоять на ногах. Слово чья-то рука снизу ударила по Спитаку и, примерившись, ударила еще раз, сильнее. Спасались чудом. Армен, работник одного из спитакских учреждений, человек опытный, при первом же ударе кинулся в угол комнаты, и панель накрыла его под углом, оставив рядом проем окна. За пять секунд до второго удара он успел выкинуться на улицу. Но так спаслись немногие.

В Спитаке не осталось ни одного целого дома, лишь некоторые сохраняют эту видимость, но к ним опасно даже подходить — они могут в любой момент рухнуть.

Итальянские спасатели были всюду, на всех крупнейших катастрофах последних двадцати лет. Один из них, с кем мы вместе работали, сказал, что никогда и нигде ничего подобного видеть им не приходилось — ужасающие масштабы катастрофы не поддаются восприятию.

... Конечно, нельзя все время жить в таком напряжении, и спасатели обессили бы через день-два, позвольте они шоку, в котором находилось все население Спитака, овладеть и им. И все же никуда нельзя было деться от тех картин, которые все время бросались в глаза. Среди искореженной домашней утвари лежат аккуратно перевязанные ниточками пачки спичечных этикеток — и хорошо, если удалось найти тело малыша, их вчерашнего хозяина. Нам рассказывали, что в первые дни, подняв бетонную панель, обнаружили под ней живого пятилетнего малыша: его спасла ниша в земле. Встав, он потопал наверх и... плита, разломившись, рухнула и накрыла его.

Таких историй в Спитаке сотни и сотни. Рыдая, молодой парень гладил остатки кровати, на которой погибла его юная двадцатилетняя жена, ждав-



Так в декабре выглядел город. Точнее, все, что осталось от него

шая ребенка. Надо было слушать и не слышать. Потому что надо было работать, хотя с каждым днем, с каждым часом шансы на спасение живых все уменьшались, подкрепляясь лишь рассказами, похожими на легенды, что где-то удалось вытащить живую девушку, пролежавшую под обломками десять дней,— и лишь потом мы узнавали, что она умерла спустя несколько часов.

В первое утро мы работали, рассчитывая лестницу, что вела с верха города к реке, за которой простирались кварталы, превратившиеся в полном смысле слова в поля щебня. Спускаться можно было и по откосам, но коренастый не-бритый армянин, стараясь сохранять спокойствие, сказал, что здесь за минуту до катастрофы видели двух его детей 14 и 16 лет, спешивших в школу: «Они могли идти только этой дорогой, только этой и их нет нигде...»

Несколько часов мы разбрасывали камни, прощупывая каждое возвышение, под которым могло таиться тело, и — ничего не нашли. Может, мальчишки еще живы, может, их уже эвакуировали, и они еще встретятся с отцом?

Вместе с нами работали болгары с собакой. Она, повизгивая, металась по развалинам, но помочь не смогла. Болгары были мрачны и неразговорчивы. На этот раз их помощь не пригодилась. Но дело было и в другом. «У нас есть свои вертолеты, — с трудом подбирая слова, сказал один из них, оторвавшись от бутылки с минеральной водой, — и мы могли сесть здесь уже вечером седьмого. На стадион, он остался целым. Но мы смогли прилететь только десятого. А, черт...» «Три дня, — подумал я, — для получения иностранной помощи — это по нашим условиям молниеносный срок, но... сколько десятков и сотен жизней удалось бы спасти в эти первые, в эти судьбинные часы...»

Весь Спитак был в гробах. Они заваливали половину стадиона, в углу которого мы жили, они стояли на каждом углу, на каждой улице. Это резало глаз в первые дни, но потом стала понятна предусмотрительность: из пятидесяти тысяч населения района, сказал мне его главврач, с трудом поднимавший набрякшие черные веки, погибло примерно 20—25 тысяч, из них 12—13 тысяч в Спитаке. Тело погибшего могут высвободить из развалин в любой мо-

мент, в любом месте. И гроб должен быть поблизости.

Нам удалось, разговорившись с молодыми врачами-инфекционистами, получить приглашение разместиться в их палатке, едва ли не самом благополучном месте Спитака: развернувшись в полную боевую готовность, врачи ждали первых пациентов, которых надо будет госпитализировать тут же, но пока палатка была почти пуста. В ней стоял стол из двух поставленных друг на друга гробов; такого же происхождения была лавка и даже... туалет — из поставленного стоймя гроба.

Пусть никого не шокируют эти подробности. Я рассказываю о том, что было, и повторяю, что было невозможно и не нужно жить, все время подавляя рыдания, потому что иначе было невозможно работать — для чего сюда приехали тысячи и тысячи людей.

ШТАБЫ, ШТАБЫ...

Поначалу положение у рижских строителей сложилось не лучшим образом. Несколько наших самолетов, которые везли и тяжелую технику и все остальное, вплоть до спецовок и варежек, где-то застряли, чего, собственно, и надо было ожидать — Звартноц работал с шестикратной перегрузкой. Наши самолеты скорее всего сидели в Тбилиси, Сочи или Краснодаре. Но строительям было от этого не легче. Они маялись от безделья и кричали дикими голосами на каждого, кто, как им казалось, может пригнать самолеты прямо сюда, на стадион. Они расположились прямо на земле, подложив деревянные щиты для сна и сделав из них загородку для костра — декабрьские ночи в Армении были холодны. Они уже знали, что им предстоит разбирать перекореженные конструкции сахарного завода, но пока их руководители Ананьев и Баятов мотались по Спитаку, определяя будущий фронт работ, а Начаров, сидя в Ереване, проталкивал самолеты на посадку, они маялись от безделья. Но лишь только стала прибывать наша техника, томление трансформировалось в мучую жажду деятельности. И рискуя предположить, что на окраине Спитака, недалеко от того же завода у рижан вырос самый мощный и оснащенный лагерь.

Доведа рассказ почти до середины,



Еще вчера они жили здесь . . .

я не случайно ни разу не упомянул об «организующем начале», которое, конечно, должно было быть в Спитаке — и оно в самом деле было. Недалеко от бывшего рынка (тут все стало бывшим) стояло несколько палаток штабов: райкома, райисполкома, военной администрации. Да, они беспрерывно работали. Я сам сидел в штабе горисполкома и видел, как идут туда люди, как без проволочек решаются все вопросы («Самвел, — спросила у завотделом райкома женщина, представительница райпо, — по каким накладным пальто выдавать?» «А вот так и выдавай, — сказал Самвел, — без всяких накладных. — И кивнул на чернильный резиновый прямоугольничек. — Только одна печать осталась, да и та швейной фабрики»). Но я слышал и буквально стон, стоящий по городу, и ругань в адрес властей («Ну что им еще нужно после Чернобыля, чтобы они научились работать!») — и надо признать, что для такого отношения были все основания.

В самые первые, самые страшные

дни, когда нужен был буквально «железный диктатор», обладающий всей полнотой власти, всей полнотой информации, ни партия, ни советская власть не сработали так, как должны — по тем авансам, что им выдавались все эти годы, по тем надеждам, которые просто больше ни на кого нельзя было возложить. И можно понять боль и нечеловеческое напряжение Норика Мурадяна, недавно ставшего первым секретарем райкома партии, который, кажется, не спал ни одной ночи. Но нельзя понять ситуацию, при которой власти шли за событиями, вместо того чтобы опережать их, управлять и руководить спасательными работами. Да, представитель ЦК КП Армении, как он сам рассказывал, пятьдесят шесть часов простоял на площади, направляя людей и технику, но я тщетно пытался узнать, сколько в городе кранов, не говоря уж о том, сколько из них в самом деле работают. Мне называли цифры от 60 до 200; я же сам, колеся со спасателями по городу из конца в конец, никогда не видел больше 15—20 кранов, растаскивающих развалины. А подходило такое время, когда без техники делать было нечего, руками панели не сдвинешь, хотя мы не без успеха кололи их ломами и молотами.

Я уже говорил и не устану повторять, что поток помощи, пошедшей в Армению, был в самом деле огромен, его трудно себе представить; Армен, Боря, Артем, те врачи, с которыми мы подружились, искренне говорили, что теперь у них есть все, о чем можно только мечтать — вплоть до легендарных одноразовых шприцев. То же можно было сказать и о продуктах, и об одежде, и обо всем прочем. Но вот чем ближе приближалась эта помощь к тем, для кого она предназначалась, тем уже становилось горлышко, сквозь которое она должна была проталкиваться. Те, кто видел программу «Взгляд» с сюжетом из Спитака, конечно, содрогнулись при виде сотен гробов, скрюченных искалеченных тел, нашедших в них последнее пристанище. Но мало кто обратил внимание на россыпь пестрых пятен, разбросанных на скамейках стадиона, — а жаль. Там была раскидана под ночным снегом и непогодой та одежда, которую слали со всего Союза спитакам, лишившимся всего, кроме того, что было на них в момент удара. И честное слово, не стыжусь признаться, что в горле был

комков, когда я стоял и смотрел на детские шубейки и валеночки . . .

Сзади подошел старик. «Сынок, — сказал он, — можно ли взять тут что-нибудь для моего внука. Он совсем голенький». «Дедушка! — сказала я. — Да бери все, что надо! Это же все для вас! . . .»

Да, знаю, до всего не доходили руки. Но ведь кричали в газетах лозунги, справедливость которых не подвергалась сомнению: «Спаси, накорми, обогреть!» И не могу понять, почему оставшиеся в живых и не уехавшие жители Спитака не знали, где получить одежду, пищу; на седьмой день после катастрофы я видел женщин в тапочках и халатах, на седьмой день стала добираться помощь до тех десятков разрушенных сел, в которых люди всю эту неделю жили под открытым небом.

И еще об одном уроке Спитака не могу не сказать.

Всеобщее восхищение и признательность снискали иностранные спасатели. В Спитаке, насколько я знаю, работали итальянцы, французы и болгары; в ереванском аэропорту мне рассказывали об алжирских, израильских, шведских и других спасателях. Не буду приводить ходившие о них легенды (часто они были преувеличены), да и не в них дело: если даже они спасли бы из-под завалин хоть пять человек, хоть одного, то и тогда их прибытие было бы оправдано.

Зависть и восхищение у наших ребят, ходивших в «спецухах» и стройкасках, вооруженных лопатами и ломом, вызывало оснащение иностранных коллег:

подогнанные куртки и комбинезоны, налобные фонарики с аккумуляторами, топоры, ломы и ножи на поясах с карабинами и, главное — портативные пилы и резак, которые пропиливали дыры в бетонных блоках и резали эту чертову арматуру буквально за несколько минут.

Иначе и быть не могло. Они были профессионалами.

Обойдемся без героической риторики. Теперь мы знаем, что катастрофы бывают и у нас. Гибнут люди, рушатся дома, падают под откос поезда, лавины сносят туристов и лыжников.

Первыми на помощь кидаются энтузиасты. Голыми руками, с примитивным снаряжением, они откапывают, извлекают, вытаскивают, оказывают первую помощь. Подсчитывал ли кто-нибудь и когда-нибудь, сколько погибло из-за того, что вовремя не оказались на месте квалифицированные профессионалы спасатели, умеющие жить и работать в экстремальных условиях, знающие, как резак вырезать человека из хаоса железа, как перелить ему кровь и как транспортировать раненого с переломом позвоночника.

У нас в стране, как рассказал мне Максим, московский альпинист и научный сотрудник из «ящика», семь тысяч горноспасателей, имеющих право носить на груди квадрат с силуэтом Ушбы и Красным Крестом. Все их данные имеются в Москве, в Федерации альпинизма. Через день они могли быть на месте — из Европейской части Союза, через два — из Владивостока. Их



Гробы. всюду гробы . . . Кладбище не успевает принимать их

должны были без очереди и бесплатно сажать на самолеты — зеленую улицу! Вместо этого многие руководящие работники Федерации, собрав тех, кто оказался под рукой в Москве, сами кинулись на развалины Ленинанкана и Спитака. Честь им и хвала за благородный порыв. Но не этим они должны были заниматься, думал я, слушая рассказы киевлян и армавирцев, за свои деньги добравшихся в зону бедствия.

Энтузиазм должен и может быть тем запалом, тем детонатором, с которого начинается любое дело. Но дальше в бой должны вступать профессионалы.

И горечь этой аксиомы подтвердили развалины и трупы Спитака и Ленинанкана.

ЛЮБОВЬ МОЯ, АРМЕНИЯ . . .

Вечером, когда, казалось, силы были на исходе, мы наткнулись на мужчину и женщину. Мы копошились в углублении бетонного крошева; свет давал огромный квадратный прожектор, укрепленный на торчавшей стойке панели, и удар лома, отбросивший камень, обнажил сначала чью-то ногу, распознать которую можно было только на ощупь.

Это были отец и мать тех двух мужчин, которые, застыв, стояли над нами и один из них, еле шевеля губами, прошептал: «Жили вместе и вместе погибли».

Я не буду описывать, как тела вытаскивали из земли — они были вбиты, вмурованы в земляное твердое крошево. И арматуру, лежавшую поперек их тел, надо было рвать краном, а потом нести сползающее с носилок нечто через хаос кирпичей и прутьев к дороге, где уже ждали поднесенные гробы. Жили вместе и умерли вместе . . .

Когда мы уже собирались уходить, кто-то из местных жителей сказал, что здесь был детский садик, и спасли не всех — человек десять-пятнадцать детей остались на улице под развалинами — они не успели вбежать в дом.

И на другое утро мы пришли сюда вместе с частью тех московских спасателей, с которыми мы ехали в Степанаван — быстро кончив там работу, они прибыли в Спитак.

Определив по соседнему, еще стоящему дому, где проходила стена и где должен быть игровой дворик, слой за слоем мы стали снимать остатки

дома, выбрасывая на поверхность то одежду, то спинку дивана, то рвущийся мешок риса, то кастрюлю с замешанным тестом — здесь явно была кухня детского садика. Мы пробились сквозь нее и дошли до асфальта. Обнажился крохотный клочок его.

И все сильнее в воздухе витал тот самый сладковатый запах . . .

На двух джипах с прицепами примчались итальянцы с собаками и техникой. Пока собаки, контролируя друг друга, как скалолазы сновали по развалинам, несколько человек, тут и там втыкая в землю щуп резонатора, приносили к наушникам. Мы, ушедшие с раскопок на соседние развалины, уже знали, что если под землей есть живой человек, резонатор уловит стук его сердца. И знали, что мы должны делать — замереть и не шевелиться. Но с каждой минутой слабые надежды наши становились все призрачнее. «Живых нет», — через переводчика сказал маленький итальянец с иссиня-черным от щетины лицом.

Вечером я нарисовал Аркадию Кричевскому план, где лежат дети, и он сказал, что, если их не бросят на разборку завода, они пойдут туда.

Это были будни Спитака. Это было то, чем занимались сотни и тысячи людей. Каждый день и каждый час.

А теперь я хочу сказать о другом, хоть мне и трудно подступиться к такому клубку противоречий, разделивших две соседние республики, Армению и Азербайджан.

Буду говорить только то, что видел и слышал сам от очевидцев.

Нигде, ни в Спитаке, ни в Степанаване и, говорят, в Ленинанкане, не довелось увидеть ни одного представителя Азербайджана. Правда, кто-то упоминал, что отряд оттуда работает на развалинах азербайджанских сел . . .

Я слышал рассказ, как машины, мчавшиеся в Армению и вынужденные часть пути спрямить через Азербайджан, на границе республики встретили камнями, и транспорт с техникой и кровью был вынужден искать обходной путь.

В Ереване люди, читавшие почту из Азербайджана, пришедшую в Союз писателей, видели поздравления с бедствием и благодарности за то, что «спасли наших соотечественников», то есть тех азербайджанцев, что уехали из Армении.

До катастрофы в аэропорт Звартноц, как мне сказал работник пункта по

приему беженцев из Азербайджана, в день прибывало до трех тысяч человек. В опросных листах, которые мне довелось держать в руках, чаще всего на вопрос: «Что заставило вас сняться с места», люди отвечали: «Моральное давление и чувство страха».

В Ереван прибыл вагон из Баку с лопатами и записками: «Хороните ваших мертвых».

У своих друзей, студентов-востоковедов университета, которые днем работают переводчиками, а по ночам чистят город, спасая его от эпидемии, я спросил: «Как бы вы приняли азербайджанских спасателей?»

Они долго молчали. И наконец сказали: «Мы приняли бы их хорошо. Раз приехали помогать — они люди. Но... мы бы им сказали: «Спасибо, ребята. Только не надо...»

Многое из того, что я здесь рассказывал, может показаться невероятным. Я и сам, прикидывая, как рассказать

обо всем, думал, что этой теме нужно коснуться очень осторожно. Но уже по прибытии в Ригу узнал, что в Комитет помощи Армении пришли два гражданина (не могу назвать их товарищами) азербайджанской национальности и сказали, что если не будет убран из окна армянский флаг, они разобьют витрину.

И тогда я решил обойтись без всяких оговорок.

... На столе в Комитете помощи Армении лежал спичечный коробок, наполненный монетками: 10, 15, 5. Их высыпали из своих карманов детишки, приходившие сами и со своими родителями. Сколько там было — рубль, два?

Когда я рассказывал в Армении об этом коробке, не было никого, кто бы мог удержаться от слез.

Я всегда буду помнить его. Так же, как погибший Спитак, и костры на черных его улицах.

Рига—Спитак—Рига

Фото
спецкора газеты «Советская молодежь»
Сергея Тяжелова

Владлен ДОЗОРЦЕВ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К КАТАСТРОФЕ

Когда читаешь или слышишь о том, что мы сделали для растерзанной Армении, сколько отправили самолетов и составов, сколько отгрузили теплых вещей и продуктов, сколько послали спасателей и строителей, как-то не поднимается рука писать о проблемах, поставленных перед страной четвертой по числу жертв и разрушений катастрофой XX века. Может быть, последней в этом столетии.

Но ведь будет же, будет следующий век. Придет он на территорию страны — в сейсмоопасные районы, в оползневые зоны, на лавинообразующие склоны, на побережья, не защищенные от наводнений и цунами. Никто не знает, когда и где природа впишет очередной рекорд в книгу Гиннеса. И это диктует говорить об уроках помощи.

Первый и главный, кажется, теперь ясен всем. Пресса наконец заговорила о необходимости создания единой службы спасения.

В выступлениях высших государственных деятелей не была затронута эта мысль ни после Ашхабада, ни после Ташкента, ни после Чернобыля, ни после других трагедий, поставленных природой и человеком на нашей необъятной сцене. Теперь на 20-й день после катастрофы в Армении правительство сказала: нужна служба.

Государство создало и содержит одну из крупнейших в мире армий, находящуюся в курковом состоянии десятилетие за десятилетием. На всякий случай. Государство образовало и кормит тьму самых различных бюджетных ведомств. На каждый день. Государство за все свои годы не сде-



В те дни в Комитете помощи Армении, созданном журналом «Даугава» и Латвийско-армянским обществом

лало ничего, чтобы сформировать и держать на взлете корпус, фонд, соединенные — назовите как хотите — первого реагирования. Со своими аэродромами и «Антеями», со своим телевидением и капиталом, со своими кранами и собаками, с палатками, буржуйками, ЭВМ, кораблями, составами, со своими «проффи и профессорами». На случай. Нет такой армии, а должна быть.

Пусть эта армада сидит, учится, готовится стартовать, не производит никаких ценностей, пусть лишь потребляет — налогоплательщик, рассмотревшийся на Спитак и Леникан, отдаст последнюю копейку. Пусть отрабатывает методы поиска живых и способы резки бетона, пусть запасается искусственными почками и походными уборными, пусть тренируется развешивать все это в считанные часы — мы оплатим все их маневры и игры из своего кармана. Только скажите. Введите налог на спасение! Если не хватит этого налога, давайте не строить новых метро и не поворачивать течение северных рек. Мы подождем с импортом и изобильем продуктов — мы не можем больше смотреть на очередные героические усилия всех братских республик страны, на само-

деятельность добровольцев и оставшихся в живых, на пожертвования однодневных зарплат и собирание вещей. Мы не можем больше смотреть на неразворотливость экстренного механизма, создаваемого очередной раз на ходу и с нуля, на дни и недели продвижения подъемной техники с севера на юг, когда под бетоном и туфом сдавленная и скрюченная жизнь уходит ежеминутно и ежечасно в адских муках. Когда на руинах рвутся сердца тех, кто не может помочь своим родным и любимым, детям своим.

Есть еще один аспект, о котором нельзя не сказать теперь, по прошествии нескольких месяцев. Вот сухие данные календаря: 7 декабря утром — катастрофа. 8-го — предсовмина страны с командой вылетел на юг. 9-го — туда же вылетели зампредсовмина всех союзных республик. 10-го вернулись с полномочиями на места. 11-го началась мобилизация техники и ресурсов. Четыре дня было потеряно на ориентацию и старт.

Зачем нужно было устраивать на месте высокий слет руководителей республиканских штабов? Разве, допустим, в Риге нельзя было точно и сразу представить, что следует немедленно

забрасывать в район бедствия? Разве в Минске было неясно, без чего нельзя поднять завалы? Чрезмерная централизация и привычка к единой команде украл у ожидавших спасения четыре долгих дня.

Не знаю, как было в других городах,— я наблюдал, как проворачивался кареточный механизм в Риге. Думаю, так было везде, поскольку единообразие управления действует на всей территории. Здесь, в Риге, казалось, не было ни одного равнодушного — начались стихийные пожертвования, пошли люди с теплыми вещами, предприятия отработывали в счет Армении, из районов потекли продукты, люди давали свои адреса для беженцев, правительственный круглосуточный штаб отступивал распоряжения — выделять, разыскивать, комплектовать, отгрузить... Казалось, все делалось по принципу первоочередности.

Но...

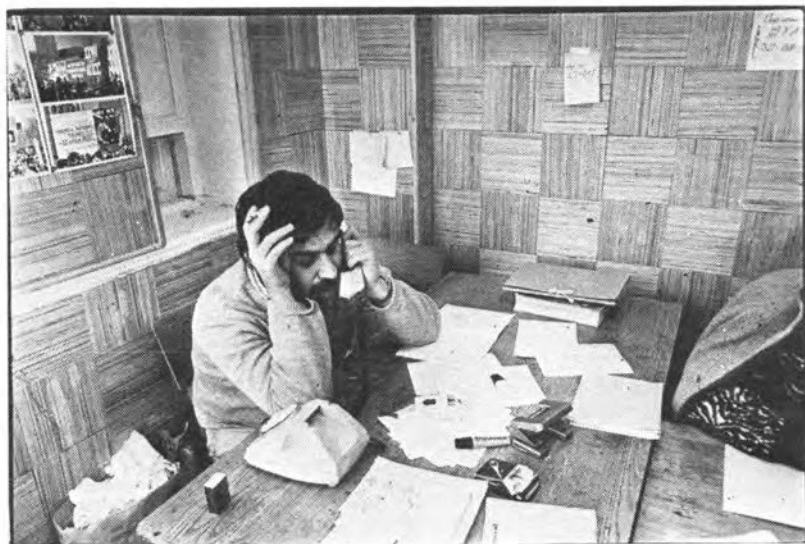
На седьмой день в аэропорту «Рига» еще стояла бесконечная колонна техники. Еще грузились вагоны с самым необходимым. Еще изготавливались кооперативом акустические приборы, способные обнаружить под руинами бие...

Бился ли еще где-нибудь в развалинах этот пульс?

Сейчас мы говорим, что транспортная авиация ВВС вынесла на своих плечах огромные перебриски. Все так, все верно. Спасибо военным летчикам. Но почему первые «Антен» ВВС мы получили не на первые и даже не на пятые сутки? Почему, чтобы получить с воеисклада в Риге несколько летних палаток, нужно было будить в Москве чуть ли не начальника тыла Советской Армии? Почему каждый неплановый рейс Аэрофлота мы выбивали с кровью?

Никогда не забуду, как служба перевозок аэропорта спросила у меня, представителя общественного Комитета помощи Армении (был создан такой журнал «Даугава» совместно с Латвийско-армянским обществом), нет ли у нас авиаторского (!), не можем ли помочь? Тот же комитет (что-то вроде тимуровцев) добывал позднее тяжелое строповое оборудование для кранов, зимние палатки для строителей и спасателей, носилки, санитарные ранцы, шупы...

В те дни мы сделали для себя еще одно мрачноватое открытие: фабрики и заводы страны, оказывается, во многом работают не на потребителя,



Один из руководителей комитета Норик Бабаджанян.

Фото Лауриса Филица

а на склад. Хождения по предприятиям и учреждениям с целью добыть самое необходимое для отправки в зону поражения показали, сколь бессмысленно богаты наши складские недра. Боясь подорвать производственный ритм, мы осторожно спрашивали: а это взять можно? А без этого вы обойдетесь? А это не смертельно для вас? «Да мы не касались этого пять лет!» — отвечали нам. «Да мы вообще не знаем, как это попало сюда!» — разводили руками. Лежал невостребованный общественный продукт, который где-то шился, клепался, варился, был оплачен ставками и премиями, был учтен в планах и ведомостях, был фондируем и доставлен, чтобы тут осесть навсегда.

Наконец, последнее наблюдение тех дней: советский человек уникален. В час беды он без сомнений отдает свое личное — все, что имеет. Но казенное... Даже совсем ненужное... То есть он понимает, что ТАМ это сейчас важнее, чем ЗДЕСЬ, и отдать надо. Но как это — отдать? Просто взять и отдать? А как потом доказать? Может, дадите расписку с печатью и подписью? У вас нет никакого бланка? Или требования? Вы поймите, товарищ... Потом поди-докажи, что ты... Скажут, пустил налево... Печать у вас есть?

У меня была только печать журна-

ла, годная, чтобы оштамповать лишь командировочное удостоверение литсотрудника. Но как вождеденно взирали на нее нормальные матответственные люди, выращенные на сталинском недоверии друг другу! Как облегченно они шлепали этой пешкой по распискам! Все-таки круглая... Вы подпишитесь, товарищ... И как прекрасно было отметить, что нет этого бланкопечатного синдрома у молодежи — она свободнее и решительнее, она пластичнее на поворотах.

В этом послесловии не место конкретным случаям и именам. Но одно имя не могу не назвать. Из всех репортажей с места трагедии в центральной и республиканской печати статья спецкора ЛАТИНФОРМА Карена Маркаряна порадовала своей точностью и жесткостью. Он первый, пожалуй, заговорил об уроках Армении во весь голос. Горький репортаж, но конструктивный, проблемный. Тем более странно, что репортер вынужден был выступать не под маркой фирмы, пославшей его. Карен опубликовал свою работу как частное лицо. Честное частное лицо.

Как много было таких лиц в те дни! И как прав был академик Федоров, пожелавший нам сохранить наше стремление помочь Армении на долгие годы!

Юрий АБЫЗОВ

БУКЕТ ИМЕН

(РУССКАЯ КУЛЬТУРА В ЛАТВИИ — ЕЕ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ)

... Если в ходе веков существовала большая прекрасная река, впадающая в большой прекрасный залив, то эта река неизбежно должна была стать водным путем для движения из сопредельных регионов.

Русские всегда здесь были. Только следует хорошо усвоить, в каком качестве они выступали и выступают и какую роль играют в общем устройении края.

Вопрос о местной русской культуре никогда серьезно не рассматривался.

1) В период до первой мировой войны Латвия входила в состав Российской империи и не мыслилось, что возможна какая-то обособленная русская культура. Просто считалось, что существует русский анклав в немецко-туземной среде, имеющий общерусскую культуру, только с густым налетом провинциализма.

2) Между первой и второй войнами этот вопрос стал назреть, потому что русское население оказалось на положении национального меньшинства с присущим ему комплексом неполноценности, и оно, естественно, было озабочено сохранением своего образа бытования и мышления. Накапливался материал, но его некому было осмыслить. (Если не считать набросков Б. Н. Шалфеева.)

3) После Отечественной войны разговоры о местной русской культуре не поощрялись или носили чрезвычайно плоский характер, поскольку акцент делался не на национальной сущности, а на том, что все мы еди-

ный советский народ, а коли так, то и нечего вдаваться в этнические различия. Тем более, что все местное русское население было под дозором в белогвардействе, даже и те, кто безвыездно проживал здесь 200 с лишним лет.

Сейчас разговор об этом назрел, но завязывается он пока что без предварительных, основополагающих работ, ведется по верхам. Отдельные энтузиасты и любители занимаются или инвентаризацией и описанием судеб архитектурных памятников или обращением к обломкам старины, а не самой историей бытования здесь русских и изучением годичных колец их культуры.

Местную русскую культуру невозможно рассматривать в отрыве от истории, то есть она должна рассматриваться как субъект истории.

Понятие культуры многоаспектно, и нельзя ее сводить исключительно к материальной культуре и ограничиваться тем, чтобы с гордостью указывать пальцем: вот это здание Управления железной дороги строил Андрей Владимирович Верховской, а эту улицу почти целиком застроил отец знаменитого Сергея Эйзенштейна. Культурология вырастает из истории, осмысленной в плане психологии.

В каждую эпоху действуют люди иного типа мировосприятия и действия.

Французский историк Марк Блок писал:

«... Исторический феномен никогда не может быть объяснен вне его

времени. Это верно для всех этапов эволюции... Об этом задолго до нас сказано в арабской пословице: «Люди больше подходят на свое время, чем на своих отцов»... Человек века электричества или авиации чувствует себя... очень далеким от своих предков».

Это закономерность. И на закономерность эту наложился еще ряд катаклизмов, что привело почти к полному разрыву наследования. Нынешнее русское поколение имеет очень смутное представление о своих предках в Прибалтике.

Чтобы набросать хотя бы очерк истории местной русской культуры, нужно помнить слова Ключевского о том, что «история — процесс не логический, а народно-психологический». Только это и может дать достаточную предпосылку для разговора.

Латвия, а если точнее, непосредственно — Рига, всегда влекла русских. Влекла выгода от торговли, выгода обоюдная. Не будь русских плотогонов, продавцов льна, кожи, сала, пеньки, — рижским купцам нечего было бы делать. Ведь они же по существу были просто перекупщиками, комиссионерами, сбывая потом этот товар европейским негодьям. Прибывающий торгово-ремесленный русский люд оседал подле города сначала на временное, а потом и на постоянное жительство, образовав со временем так называемый Московский форштадт. По существу, это было русское поселение, принесшее свою крестьянскую культуру с собой. (Я нарочно не касаюсь русского населения на востоке края или в районе Крустпилса, чтобы не усложнять картину.) Все обычаи, обряды, образ поведения были исконно русские.

Характерный пример — еще до недавнего времени старожилы помнили, что район Московской, Большой и Малой Горной улиц назывался в русской среде «Красная Горка». А это, как известно, праздник, примыкающий непосредственно к пасхальной неделе. Реликтовый топоним этот говорит о том, что здесь собирались и праздновали точно так же, как в России.

Русская замлельская культура, включая православную веру и веру старообрядческого толка, сама себе довлела в этом анклав.

В целом отношение русских к Прибалтике было сложное. Она их и при-

тягивала и отталкивала. Внутреннее борение это достаточно наглядно отражено в русской литературе.

«Католический и протестантский Запад был слишком чужд и подозрителен для православной Восточной России по своим верованиям, обычаям и порядкам», — писал Ключевский.

Характерен эпизод, который он приводит:

В 1577 году на улице в завоеванном Кокенгузене (ныне Кокнесе) Иван Грозный благодушно беседовал с пастором о любимых своих богословских предметах, но едва не приказал его казнить, когда тот неосторожно сравнил Лютера с апостолом Павлом, ударил пастора хлыстом по голове и ускорил со словами: «Поди ты к черту со своим Лютером».

Как видим, и диалог вести хочется и уступать не хочется, отсюда и подобные силовые аргументы.

Русским не давало слиться с краем то, что там правила немцы, но не было немецкого народа, то есть землепашца. А настоящий землепашец — латыш был расселен в силу специфики землепользования так, что контакты были возможны лишь на рубежах края.

Отталкивала не столько другая религия, сколько всевластность права, то есть всеобщей кодификации, регламентации, статуты, законов на любой случай. Даже отношения барона и крестьянина оформлялись на бумаге.

А как говорил Киреевский, «само слово право было у нас неизвестно в западном его смысле».

Эта неприязнь ко всеобщей кодификации, к пугающему понятию «орднунг», неприятие немецкого идеала жизни — *Stilleben*, — который выразил онемечившийся историк Арбузов в своих «Очерках истории Эстляндии, Лифляндии и Курляндии», сохранились в русской среде до начала XX века. Существовал, я бы сказал, «остзейский комплекс россиянина».

Словом, до определенного периода можно говорить о местной русской культуре как о культуре транспортированной и законсервированной.

По-настоящему о становлении местной русской культуры можно говорить только с того периода, когда были снесены крепостные валы и Рига выплеснулась за пределы прежних границ. Исключительно торговый капитал, правящий Ригой, сменился капиталом

промышленным, что вызвало потребность в технической интеллигенции, в том числе и русской. Образовался Политехнический институт, возникла Александровская гимназия, потом Николаевская, Петровская, Ломоносовская, частные гимназии Тайловой и Лишиной.

Возникла газета «Рижский вестник», издававшаяся Евграфом Чехихиным, все значение которой для формирования местной русской интеллигенции еще не оценено; не оценено в должной мере и значение ее в поддержке латышского народа за свое самостояние (к сожалению, его имя даже не упоминается в недавней вышедшей энциклопедии «Рига»).

Началось усвоение и освоение края русским сознанием.

Третье и четвертое поколения русского купечества имели уже совсем другой облик благодаря развитию образования. Вырастали новые побеги и от индифферентного доселе чиновничества.

Возникло просветительное общество «Улей» и певческое общество «Боян».

В гимназиях подрастали будущий знаменитый скульптор Вера Мухина (дочь рижского купца), будущая известная писательница Ирина Одоевцева (Одоевцева — по матери — тоже из рижского купечества), будущая жена Михаила Булгакова — Елена Сергеевна Нюрнберг, будущий писатель Ян (Янчевецкий), будущий прославленный режиссер Сергей Эйзенштейн, будущий литературовед Чехихин-Ветринский.

Какой букет имен! Но увы, все они оказались вне Риги. В ходе первой мировой войны Рига была эвакуирована и в культурном смысле оголена. Был содран первый русский культурный слой.

После 1920 года стал наращиваться новый слой. Но это уже в большинстве своем были совсем другие люди: литераторы, журналисты, актеры, художники — пусть и не всегда первой величины, но тем не менее представители «серебряного века» русской культуры, покинувшие Петроград, Москву и Киев.

Начался опыт автономного существования. В Риге был великолепный Русский театр, так что ей завидовал русский Париж. В Риге уцелели все православные церкви (если не счи-

тать снесенной часовни у вокзала), и хотя и пришлось потесниться с гимназиями, но тем не менее они существовали, существовали русские студенческие корпорации, дружины скаутов, благотворительные общества. Сюда то и дело наведывались известные ученые Кизеветтер, Бердяев, Франк, известные певцы и актеры Шаляпин, Михаил Чехов, Собинов (кстати, связанный с Ригой родством), писатели Шмелев, Бунин.

Здесь было создано Рериховское культурное общество, упраздненное за ненадобностью его для советской культуры в 1941 году и возрожденное только сейчас, в 1988 году.

Специфической особенностью этого периода являлось активное проявление себя русскоязычным еврейством (было еще и немецкоязычное и предпочитавшее идиш). Благодаря энергии и предприимчивости этих людей, выросших на русской культуре, возникла целая вереница частных издательств, газет и журналов. Не будем говорить об уровне и порой низком вкусе некоторых изданий — тут было всякое. Но никак нельзя обойти вниманием деятельность газетного концерна «Сегодня». Газете удалось привлечь в качестве сотрудников самых крупных русских писателей и общественных деятелей русского Зарубежья, а книжное издательство концерна выпустило для русского населения целый ряд собраний сочинений русских классиков.

Но самое ценное в истории этой газеты, которую, на мой взгляд, неправильно аттестовали как «белогвардейскую» и «антисоветскую» (она была всего лишь НЕсоветская, что вполне понятно), самое ценное то, что она очень много сделала для ознакомления русского читателя с краем, коренным населением, латышской литературой и искусством.

К сожалению, вся печатная продукция 20—30-х годов была заключена в спецфонд и прошла мимо двух следующих поколений.

В порядке отступления скажу, что мною, в результате 12 лет работы, был составлен библиографический справочник по всей русскоязычной литературе и периодике, вышедшей с 1919 по 1944 год в Латвии. Но оказалось, что он никому не нужен. В результате, в Стэнфордском университете в США этот справочник выйдет,

а у нас его не будет, разве что библиотека Стэнфордского университета прилетит из любви к библиотеке им. Лациса экземпляр.

А еще раньше оказалось, что не нужна вообще вся местная русская интеллигенция. В 1941 году были арестованы или расстреляны почти все известные культурные деятели: сотрудники газеты «Сегодня» Борис Харитон (кстати, отец нынешнего академика Юлия Бор. Харитона), Эдгар Махтус, Израиль Тейтельбаум, Михаил Мильруд, Рудольф Целмс; только инсульт спас от ареста Петра Пильского, так что он скончался дома, а не в тюрьме; был сослан в Сибирь и вернулся спустя 14 лет, потеряв в лагере ногу, Иван Никифорович Заволоко, редкий знаток старопечатной книги, к которому приезжали советоваться академики; были арестованы учителя-фольклористы Сергей Петрович Сахаров и Иван Дмитриевич Фридрих (изрядная часть собранных им материалов доселе лежит мертвым грузом); арестован и погиб в тюрьме поэт Герасим Лугин; покончил с собой писатель Юрий Галич; арестован и сослан учитель и журналист Арсений Формакос; расстрелян литератор Степан Посевин; арестован и погиб в тюрьме правовед и поэт Петр Якоби; арестован и погиб художник Цивинский; арестованы и погибли общественные деятели Тихоницкий, Каллистратов, Трофимов и другие.

А сколько русских интеллигентов поспешно покинуло Латвию, зная, какая их может постигнуть участь: писатель Андрей Задонский (умер в Германии), поэт Игорь Чиннов (ныне профессор в США), художник Евгений Климов (ныне знаменитость Канады), художник Богданов-Бельский, пианист Всеволод Пастухов, профессор нашего университета Василий Синайский (скончался в Бельгии) . . .

А сколько еще было уничтожено немцами! . . . Трагедия не знала предела. Был в Риге учитель Козьма Иванович Перов. Вырастил двух сыновей, дал обоим высшее образование. Один — Анатолий, медик, — заведовал отделом русской жизни в газете «Сегодня», участвовал в издании журнала «Для вас», второй — Борис, стал актером Русской драмы. Анатолия сослали на Колыму, где он чудом выжил после карцера, выдолбленного в вечной мерзлоте, а Бориса за участие в движении Сопrotивления расстреляли немцы.

Вот так был содран второй пласт носителей русской культуры.

После Отечественной войны прибыли опять новые русские, которые принялись действовать без опоры на традиции, на знание местных условий и специфики края. Довольно многие из них и доселе не знают ни латышского языка, ни истории бытования своих русских предшественников.

Но тем не менее со временем образовалась, хотя и небольшая, но эффективно действующая группа переводчиков, донесших до русского всесоюзного читателя почти все значительное из латышской литературы. Существует Молодежный театр, известный во всей стране и за рубежом. Вышли в известные люди воспитанники нашего университета, для которых эта земля уже своя земля, окультуренная их сознанием. Назову Марину Костенецкую, Людмилу Азарову, Романа Тименчика. Существует журнал «Даугава», выносящий представление о культурной жизни республики далеко за ее пределы.

Но ведь это отдельные фигуры и отдельные очаги. Трудно говорить о густом, мощном пласте русской культуры, когда нет единой структуры. По сути дела, нет русских писателей, осваивающих почву и судьбу своего окружения, своей среды и ее специфическими многонациональными болевыми проблемами. Ужасно низок уровень культурно-исторического сознания русского учителя. Как это ни печально, но именно в этой среде процветает великодержавный шовинизм. А ведь они, эти учителя, выращивают новое поколение.

И я думаю, что главная наша задача сейчас: думать о том, каково будет нашим детям, если мы сейчас не приложим все усилия, чтобы вырастить из них людей, лишенных наших недостатков, культурных, веротерпимых, хорошо знающих жизнь своего народа и уважающих всех, кто окрест их.

Сейчас мы пока что много говорим о том, чтобы русские изучали латышский язык. Хорошо. А зачем? Затем, чтобы научившись изъясняться на нем, потом ругаться с латышами?! Знание голого языка, не подкрепленное культурной базой, обеспечивает лишь использование его на базарном уровне.

Итак, мы можем составить, сложить из фрагментов картину русского бы-

тования, стыкуя их на бумаге, но, к сожалению, вынуждены констатировать, что с естественной преемственностью и передачей традиций дело обстоит не очень хорошо.

Здесь напрашивается вопрос об издании краеведческой литературы самого широкого спектра, чтобы можно было получить представление о различных исторических срезях, чтобы были доступны очерки из редких периодических изданий, чтобы стирались «белые пятна», чтобы можно было, например, узнать, что кроме Гарлиба Меркеля были и русские представители за латышский народ. Юрий Федорович Самарин сделал для латышей никак не меньше, чем Меркель.

Тот отрывок из рассказа Индрика Страумита, который приводит Имант Зиедонис в книге «Все-таки», был написан Страумитом специально для Самарина, который поместил его в книгу, изданную в Праге: в России издать это было невозможно. В свое время прежнее поколение латышей отдало дань этому человеку, назвав его именем улицу (ныне Ломоносовская), но потом времена круто переменялись и имя человека, даже угодившего в крепость за то, что заступался за латышей, было вычеркнуто из истории Риги и из памяти латышского и русского народов.

Я считаю это величайшей несправедливостью и призываю Культурный фонд обратиться с ходатайством о восстановлении имени Самарина в Риге.

Оглядываясь назад, мы видим, как беспощадно обошлась история с местной культурой вообще и с русской в частности. Пакт Риббентропа-Молотова привел к тому, что Латвию вынуждены были покинуть все немцы, в том числе и демократическая интеллигенция. Мне рассказывали, что философ Кейхель буквально плакал, не

желая уезжать, настолько он сознавал себя не подданным рейха, а членом русской культуры. С этими немцами Рига лишилась многих музыкантов, филологов, актеров, журналистов и, тем самым, в каком-то смысле стала беднее.

Потом, уже на нашей памяти, последовал еврейский исход — и вновь теряем известных певцов, артистов, музыкантов, газетчиков. Вновь Рига беднее.

И если сейчас — умозрительно! — представить, что случится третий процесс сдирания русского культурного слоя, то Рига и вовсе утратит то, что некогда делало ее таким привлекательным, международным, подлинно интернациональным городом, городом интернационального сосуществования и взаимного обогащения. Может быть, изгнав всех, она и станет экономически богаче, но уж духовно определенно станет беднее.

Русские в Латвии — это не только кочующие мигранты, для которых *ubi bene, ibi patria*¹ и снование которых взад-вперед можно прекратить повышением культуры экономики, — но и потомки тех (и уж какие они были, Господь их суди!), чьи кости покоятся в этой земле уже не один век, потомки, прочно пустившие здесь корни и за которых на много лет вперед сказал Пушкин:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.

¹ Где хорошо, там и родина (лат.) — Ред.

Сложившая и неоднозначно трактуемая ситуация, сложившаяся ныне в стране и не обошедшая стороной нашу республику, требует, как не раз и не два утверждалось в партийных документах разных уровней, «нового мышления и новых подходов». Новые подходы заложены и во многих разделах программы Народного фронта Латвии.

В то же время в нашей республике еще недостаточно внимания уделяется экономическим сопоставлениям развития двух систем, что переводит споры на эту тему в плоскость эмоций и скоролапительных умозаключений.

Яков Брискин сделал попытку (по моему мнению, безуспешную), вторгнуться в эту доныне малосследованную область и сделать на этой основе некоторые выводы и обобщения. Несмотря на всю условность сравнений и спорность сделанных выводов, редакция надеется, что этот материал представит интерес для читателей нашего журнала, тем более, что ныне и Латвия, и вся наша страна решают вопрос, вынесенный в заголовок.

Столь же значимому аспекту экономической ситуации уделяет внимание и Янис Витковскис, анализирующий проблемы республиканского хозяйства.

Яков БРИСКИН

КАКУЮ ВЫБЕРЕМ ДОРОГУ?

Федор Бурлацкий в статье: «Какой социализм народу нужен» (ЛГ, 1988, № 16) задает риторический вопрос:

«... почему так случилось, что в нашей стране с ее колоссальными богатствами земли, леса, нефти, газа, металла, с ее энергичным и ныне вполне образованным народом до сих пор не хватает в нужном количестве и качества еды, одежды, жилищ, кинофильмов...»

В самом деле, почему?

Широкая кампания развенчания культов личности, следовавших один за другим на всем протяжении нашей бурной истории, при всей ее объективной оправданности и необходимости может привести непосвященного к

мысли о том, что всему виной наши бывшие «вожди» и их приближенные и что достаточно развенчать эти культы, поставить у власти хороших руководителей, дать самостоятельность предприятиям, сократить число управленцев — и мы двинемся вперед семимильными шагами.

Однако корни наших бед значительно глубже. Ведь если бы все объяснилось только субъективными качествами наших «вождей», то другие социалистические страны, используя те преимущества социализма, о которых мы так любим толковать, давно перегнали бы капиталистические и по уровню жизни населения, и по производительности труда, и по всем прочим параметрам.

А посету представляется настоятельно необходимым смело взглянуть в глаза исторической правде и попытаться подвести итоги экономического соревнования двух политических систем, дабы понять, где мы находимся ныне и какие возможны пути для действительного, а не мнимого движения вперед . . .

1. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Для начала сопоставим темпы экономического развития группы стран социалистической ориентации, среди которых имеются как экспортеры, так и неэкспортеры нефти, а именно: Алжир, Ангола, Эфиопия, Танзания, Мадагаскар, Бенин, — относительно группы стран капиталистической ориентации, примерно соответствующим по уровню развития: Габон, Ботсвана, Уганда, Кения, Нигер и Камерун.

Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения (средний) в долларах

	1960	1970	1975	1980
Все развивающиеся страны Африки	110	180	400	854
Страны социалистической ориентации	130	168	326	676
Страны не социалистической ориентации	125	228	950	1881

Наиболее бедственное положение в странах социалистической ориентации Африки наблюдается в области сельского хозяйства. Вследствие плохого содержания и ухода за техникой в Танзании, к примеру, доля исправных тракторов снизилась с 4545 до 1843. Производительность труда в коллективных «деревнях Уджмаа» в 2—2,5 раза ниже, чем в единоличных хозяйствах, несмотря на всемерную помощь государства. В большинстве развивающихся стран Африки, особенно в странах социалистической ориентации, снижается как производство сельхозпродукции в целом, так и производство продовольствия, что напоми-

нает положение в нашей стране после коллективизации. Так, в Алжире и Анголе индексы абсолютного производства сельхозпродукции (1965 г. — 100) снизились в 1980 г. до 93 и 69 соответственно. В то же время в Уганде и Кении они составляют соответственно 180 и 192.

Таким образом, сопоставление динамики роста ВВП на душу населения, производства сельхозпродукции, и, наконец, оценка общего состояния экономики не позволяют сделать вывод о каком-либо преимуществе модели развития, принятой в странах Африки социалистической ориентации, перед капиталистической моделью развития.

Социализм в развивающихся странах еще пока только в начале пути. А посету попробуем сопоставить темпы развития наиболее передовой страны социализма — Германской Демократической Республики и одной из передовых стран капитализма — Федеративной Республики Германии, имея в виду, что стартовали они примерно с одинаковых позиций.

Национальный доход на душу населения (в национальных валютах)

	1970	1975	1980
ФРГ	10 056	15 113	21 641
ГДР	6439	8374	10 227

Даже не принимая во внимание гораздо более высокую покупательную способность марки ФРГ, разница говорит сама за себя.

Весьма показательны в плане эффективности экономики соотношения роста национального дохода и роста капиталовложений в обеих странах:

	1950	1960	1970	1980
ГДР				
Национальный доход	100	262	401	638
Капвложения	100	450	928	1380
ФРГ				
Национальный доход	100	315	683	1447
Капвложения	100	393	960	1530

Примем за условный коэффициент эффективности экономики страны соотношение роста национального дохода

к росту капвложений в экономику. Тогда получим:

Коэффициент эффективности экономики

	1960	1970	1980
ФРГ	0,8	0,71	0,95
ГДР	0,58	0,43	0,46

Как видим, коэффициент эффективности экономики ФРГ почти в два раза выше аналогичного показателя ГДР.

Высокие темпы развития «большой семерки» капиталистических стран, позволившие им достигнуть впечатляющих успехов в повышении уровня и качества жизни большинства населения, не в последнюю очередь объясняют «передовыми стартовыми позициями». Но как и чем тогда объяснить появление т. н. «новых индустриальных стран Азии», среди которых нет ни одной страны социалистической ориентации?!

Латвийским читателям было бы безынтересно попытаться сравнить послевоенное развитие Латвии и Финляндской Республики, несмотря на трудность этого предприятия (в общественных фондах почти полностью отсутствуют данные об экономике нашего северного соседа). Как известно, и Латвия и Финляндия входили в состав России, что делает сравнение тем более заманчивым:

ВВП на душу населения:

	1960	1970	1980
Латвия (руб.)	1983	3562	5480
Финляндия (долл.)	3085	4966	6865

Как видим, ВВП на душу населения различается не столь разительно, как следовало бы того ожидать, учитывая общепризнанную существенную разницу в уровне и качестве жизни. В свете этого показательны следующие данные:

Доля социальных расходов в процентах к ВВП

	1960	1970	1980
Латвия	5,2	4,9	5,3
Финляндия	12,7	16,8	24,0

Примечание. Для Латвии взяты дан-

ные о социальных расходах в совокупности с расходами на науку.

Приведенные данные недвусмысленно указывают на разницу в приоритетах нашей модели развития (в значительной степени отчужденной от нужд народа) по сравнению со странами государственно-монополистического капитализма. В Швеции, к примеру, где принята схема — капиталистическое производство — социалистическое распределение — социальные расходы доходят до 30—35% ВВП.

В СССР и соцстранах крайне ограниченные средства на соцобеспечение стопроцентно выделяет государство. В этом свете крайне любопытно

распределение расходов на социальное обеспечение в Финляндской Республике, в %

	Центральное правительство	Местные власти	Предприниматели	Застрахованные лица
1960	42	24	24	10
1970	31	19	41	9
1980	29	14	50	7

Симптоматично, что доля расходов, приходящаяся на центральные и местные власти, а также на индивидуальную страховку, все уменьшается, а одновременно с этим растет доля выплат предпринимателями, что и обеспечивает их стабильность и высокий уровень.

2. РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ИНФОРМАЦИИ

Резюмируя все вышесказанное, можно прийти к выводу: на нынешнем этапе исторического развития обобщественный труд как базис формации при существующих ныне в соцстранах общественно-государственных надстройках значительно менее эффективен, чем труд в странах капитала. Наши идеологические противники как вне, так и внутри страны на основании этого неоспоримого факта имеют основание утверждать об общем кризисе социализма. Политические катаклизмы последних лет в Венгрии, Польше, вахханалия «красных кхмеров» в Кампучии

вроде бы лют воду на мельницу апологетов этой теории. Однако это свидетельство очевидного кризиса не марксизма, не социализма, а полной несостоятельности той системы обобществления и управления общественным трудом, той совокупности экономических и политических постулатов, которые было принято называть социализмом, но которые тем не менее таковым не являются.

Ибо, во-первых, на 71-м году Советской власти мы не имеем Советской власти, уничтоженной антинародной кликой Сталина, Молотова и прочих. Реальной властью в стране располагает его величество Аппарат, то есть партийная, советская и хозяйственная бюрократия — новый эксплуататорский класс, пришедший на смену дореволюционной буржуазии. Формально его представители не являются владельцами фабрик и полей, но, не производя ничего, кроме запретительных и ограничительных инструкций, в то же время они посредством спецобслуживания и прочих привилегий присваивают большую часть национального дохода.

В последние годы опухоль бюрократии, как о том свидетельствуют «хлопковое», «ростовское», «трегубовское», «рыбное» и прочие дела, приобретает злокачественный характер и дает метастазы организованной преступности.

Во-вторых, помимо организованных и неорганизованных преступников, спекулянтов, проституток, коррумпированной бюрократии и прочего отребья очень велика прослойка лиц, живущих на так называемые законные нетрудовые доходы: сдача внаем квартир (кстати, доставшихся им бесплатно), проценты по вкладам (около 10 млрд руб. ежегодно) и т. д. К этой же категории следует отнести большую часть из 18 миллионов управленцев, работников убыточных предприятий и целых отраслей, добрую половину научных работников — в общем, по моим подсчетам, реально в нашей стране на нетрудовые доходы живет около 55% самодельного населения.

При этом число лиц, паразитирующих на народном труде, у нас растет, а в странах капитала неуклонно уменьшается и ныне значительно ниже, чем у нас, в стране победившего социализма.

Классовая структура населения ФРГ

Класс (слой)	1961	1971	1980
Рабочий класс	70,8	75,6	75,5
Буржуазия	2,6	2,1	2,1
Городская и сельская мелкая буржуазия	19,7	15,4	11,9
Интеллигенция и средний руководящий состав	6,9	6,9	11,5

Если такая тенденция сохранится у нас, то преимуществами социализма смогут пользоваться только и исключительно паразитические слои общества.

Очень многие экономисты пытаются ответить на вопрос Федора Бурлацкого. К сожалению, многие из них оказываются явно несостоятельными как в определении диагноза болезни, так и методов ее лечения. Так, Солтан Дзорасов в отличной статье «Нужны ли нам министерства» совершенно справедливо отметил, что «принятый у нас отраслевой принцип управления — это и есть та самая структура в базе общества, которая является основой существования бюрократии, тот центральный стержень, на котором держится ее власть». А вот в качестве меры борьбы с ведомственной бюрократией он предлагает нечто совершенно утопическое:

«Надо сделать так, чтобы работникам бюрократического аппарата было выгоднее покинуть этот аппарат, чем оставаться в нем»!!!

Интересно, как Солтан Дзорасов себе это представляет? Вот уж поистине — поймай пруссак и объясни ему, что его родина Пруссия!

Сергей Андреев в нашумевшей статье «Причины и следствия» причисляет к механизму торможения весь «инженерно-управленческий персонал». Выход он видит в том, чтобы «больше платить». Удивительная наивность!

В статье «Чем силен бюрократ» высокоученые авторы и вовсе зачисляют в третью колонну бюрократизма все общество.

Тщательный анализ причин всех наших бед говорит о том, что и бюрократизм, и ведомственность, и бесхозяйственность, и прочие «негативные явления» — слово-то какое округ-

лое — проистекают и порождаются огульным распространением на все стороны нашей политической и экономической жизни двух, считающихся основополагающими, социалистических принципов — обобществление и централизм.

Однако наш опыт и опыт наших друзей доказывает, что эти принципы не должны носить характер «священных коров».

Всю пагубность огульного обобществления и огосударствления убедительно показала еще недоброй памяти коллективизация, разрушившая наше сельское хозяйство. Необходимость же децентрализации экономики, то есть самостоятельности предприятий и объединений, ныне ясна всякому непредубежденному гражданину.

Централизм выгоды бюрократии, он сосредоточивает все рычаги управления в руках центра, он является стержнем командно-административной системы. Централизм в партии обусловил все культы, все репрессии; идеалом является «демократический централизм» — но что это такое, мало кто себе представляет.

Ограничение существующего ныне централизма — удар по бюрократии партийной и советской, ограничение обобществления — удар по бюрократии хозяйственной. Вот почему разномасштабное чиновничество, удерживая пока в руках все рычаги управления, грудью встает на защиту отвергнутых жизнью сталинских заветов и обветшавших догм, прикрываясь демагогическими воплями типа «Не могу поступиться принципами».

И надежды на то, что может произойти «революция снизу» и что предприятия сами могут вырвать желанную самостоятельность из рук министерств и ведомств, явно беспочвенны, доколе существуют министерства и ведомства.

3. СОЦИАЛИЗМ УМЕР! ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИЗМ!

В средние века во французском королевстве можно было услышать голоса глшатаев: «Король умер! Да здравствует король!»

Сие означало, что умер старый король и к власти пришел король новый. Как правило, смерть короля приводила к кровавой смуте — сторонники старого короля, опасаясь потери вла-

дений и привилегий, бунтовали и ставались посадить на престол своего ставленника.

Сейчас мы имеем схожую ситуацию. Старый, командно-административный, ортодоксальный казарменный социализм изжил себя и «лег у истории на пути». Но его верноподданные, желающие все обобществить, все централизовать и на каждый чих издать инструкцию, пока располагают реальной властью.

Стало быть, сейчас ситуация действительно революционная, ибо встает вопрос о власти.

Очевидно, что бюрократия добровольно власть не отдаст. И нашу перестройку постигнет незавидная судьба всех наших прежних провалившихся реформ, если она не примет революционный характер. А революционный характер она обретет, как это ни парадоксально звучит, на пути конвергенции, на пути сближения формаций. Но не той конвергенции, на которую нас пытаются столкнуть буржуазные политологи, то есть пути вращаения капитализма в социализм. Мы должны взять у капитализма все лучшее, что он накопил за века своего существования: его восприимчивость к прогрессу, предпримчивость, возможность быстрой приспособляемости к реалиям современного мира, плюрализм буржуазных демократий, достижения в области прав человека...

И в то же время мы должны сохранить и «заставить сиять заново» наши идеалы, за которые было пролито столько крови.

Безусловно трудная задача! Но выполнимая.

Какие же вырисовываются пути для выполнения этой задачи? Несомненно, самое главное условие необратимости перестройки — это победа в смертельном бою с бюрократией. Для этого настоятельно необходимо упразднить все без исключения отраслевые министерства, притом без замены на всевозможные госкомитеты, республиканские производственные объединения и т. п. Исключение должно быть сделано для министерств, управляющих цельными народнохозяйственными комплексами, — энергетика, связи, транспортных министерств и т. п. Должны быть структурно сохранены, но сокращены численно органы государственного управления (на союзном уровне).

Необходимо резко сократить количество министерств в союзных и упразднить в автономных республиках — там достаточно оставить управления. Неужели так уж необходимо в каждой республике существование Минбыта и Минместпрома. Или Минсоцобеспечения? Неужели нам мало махрового, образцово-показательного бюрократизма в наших районных и городских собесах?

В отраслях промышленности, работающих на рынок, — легкой, местной, пищевой — следует вообще отказаться от управления сверху. Только производитель, кровно заинтересованный в реализации своей продукции и снабжающийся на началах оптовой торговли, может успешно учитывать спрос и удовлетворять потребности населения. В этих сферах должны широко внедряться различные уклады — кооперативные, индивидуальные, акционерные общества и т. д. Только тогда не будет такого, воистину преступно-дурацкого положения, когда на оптовых ярмарках торговля закупает у ткацкой фабрики 200 миллионов метров тканей, а министерство спускает ей госзаказ на 300 — авось купят. Многоукладность должна занять подобающее ей место в бытовом обслуживании, коммунальном хозяйстве, торговле, общественном питании и т. п.

Не следует бояться того, что государственные предприятия в этих областях не выдержат конкуренции с кооперативами, индивидуалами и частными мелкими предприятиями (должны быть и такие) — как показывает опыт соцстран, государственный сектор в торговле, сфере услуг, общественном питании и т. п. не способен обеспечить удовлетворение потребностей населения и не должен занимать главенствующих позиций.

Те издержки, которые ныне свойственны кооперативному движению, при условии нормального снабжения несомненно будут изжиты.

В сельском хозяйстве все убыточные и низкорентабельные хозяйства должны быть ликвидированы. Лозунг «Землю тем, кто ее обрабатывает» сегодня актуален, как никогда. Землю следует передать сельскохозяйственным производителям в бессрочное пользование, с выплатой налога с доходов. (Но не прогрессивного — это испортит все дело.) Необходимо сно-

ва вернуться к системе МТС, прокату сельхозтехники, развитию сети снабженческо-сбытовых кооперативов.

Вот что говорит об этом член политбюро ЦК КПК Тянь Цзионь в интервью газете «Известия»:

«Все, что может сделать одна семья, один двор самостоятельно, пусть они и делают — это и есть децентрализованное ведение хозяйства, но то, что требует объединенных усилий, как, например, строительство ирригационных сооружений, уничтожение насекомых-вредителей на обширных земельных площадях, закупка крупной сельскохозяйственной техники, создание больших перерабатывающих предприятий — все это делается общими силами, это и есть централизованное ведение хозяйства».

Не правда ли, разумный подход к делу? Не пора ли нам поставить все народное хозяйство с головы на ноги?!

В плане политическом хотелось бы заметить вкратце: партия безусловно должна найти в себе силы оставаться ведущей силой общества, но не должна подминать под себя общество, как это было еще недавно. Недопустимо, когда все руководящие посты во всех областях жизни занимают члены КПСС. Во-первых, после всех «дел» никто не станет всерьез утверждать, что словосочетание «член КПСС» ныне является синонимом звания «коммунист». Во-вторых, членство в КПСС еще не означает профессионализма и компетентности. Ведь еще Ленин призывал: «чистить комг... разгоняя добродетельных коммунистов из правлений, закрывая сонные (и строго коммунистические предприятия)».

Давно пора, чтобы, как говорил Бернс, «уму и чести пришел черед на всей земле стоять на первом месте».

Мы не можем установить этот порядок на всей земле. Так давайте сделаем это у нас дома! Недопустимо, когда Советы всех уровней являются лишь символом народовластия! Недопустимо, когда большинство населения даже не знает фамилии своего депутата. Недопустимо, когда такие важные для страны и для всего мира социализма решения, как ввод войск на территорию сопредельной страны, принимаются в узком кругу, даже без голосования в и без того послушном Верховном Совете.

4. ПРОМЕДЛЕНИЕ «СМЕРТИ ПОДОБНО»

Социалистический мир, пусть робко, но все же вступает на путь модернизации экономики и всего общественного устройства. Принятие в Китае, СФРЮ и других соцстранах поправок к Конституции, разрешающих частную собственность на средства производства, создание совместных с капиталистическими фирмами предприятий, попытки (правда, пока безуспешные) создания широкого социалистического рынка и снабжения на началах оптовой торговли и т. п. — отрадное тому свидетельство. Но не следует забывать, что на этом пути нас ждут немалые потери.

Ликвидация бюрократии как класса, внедрение хозрасчета снизу доверху, а также повышение производительности труда за счет внедрения новых технологий не может не привести к значительной безработице.

Энгельс писал (Сочинения, т. 17): «Относительное уменьшение доли живого труда под влиянием научно-технического прогресса — всеобщая тенденция развития производства, свидетельствующая о росте общественной производительности труда. Она выражается в использовании относительно меньшего числа рабочих рук для производства данной массы общественного продукта...»

Таким образом, наивно полагать, что безработица является следствием исключительно капиталистического способа производства, а социализм некая панацея от всех бед. Безработица есть не что иное, как следствие высокого развития производительных сил, оборотная сторона этого достижения индустриальных стран.

Поэтому в принципе вопрос стоит очень остро: или всемерное повышение возможностей хозяйственного механизма, повышение эффективности государственных и общественных институтов, в конечном счете выход общества из болота дикости, повыше-

ние качества и уровня жизни всех трудящихся за счет интенсификации труда — или искусственное сдерживание всех потенциалов экономики, нарастающее и грозящее стать необратимым отставание по всем направлениям от старых и новых индустриальных стран, дальнейшая разбалансировка всего организма страны — но при полной занятости населения.

Следует заметить, что государству выгоднее платить пособие по безработице, — даже в размерах среднего заработка, — чем финансировать убыточные предприятия и содержать армию ненужных управленцев, тратить невозполнимые природные ресурсы, лишать стимула хорошо работающие предприятия. Элементарные выкладки говорят сами за себя: в 1987 году убытки от деятельности нерентабельных предприятий составили около 7 миллиардов рублей — на эту сумму можно платить пособие по безработице в размере 200 рублей трем миллионам человек...

Путь социалистической конвергенции, путь освобождения труда и модернизации экономики, несмотря на весьма существенные минусы, ныне единственный истинный революционный путь, и промедление, как и 71 год назад, «смерти подобно». Ибо бюрократия, а ее вождей и вдохновителей народ знает поименно, консолидируется и строится в ряды. И судьба перестройки еще далеко не решена.

Мне сорок пять. Детство мое прошло при Сталине, юность — при Хрущеве, молодость и зрелость — при Брежнев. Я помню разные времена. Но совесть не позволяет следовать ироническому совету Омара Хайяма:

Будешь в обществе гордых
ученых ослов,
Постарайся ослом притвориться
без слов —
Ибо каждого, кто не осел,
эти дурни
Обвиняют немедля в подрыве
основ...

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ПУТИ К НЕЙ

Весна и лето минувшего года выдались на редкость горячими в общественно-политической жизни республики. Эмоциональный накал к осени несколько упал, так как общественностью республики были достигнуты ощутимые результаты в решении ряда внутриполитических вопросов.

«Не хлебом единым...» — гласит народная мудрость, и поэтому можно понять духовный подъем и удовлетворение латышского народа решением вопросов о национальной символике, о статусе латышского языка.

Зато осень стала более деловой, практичной — различные общественные организации, коллективы и отдельные энтузиасты свои усилия направили на решение более конкретных задач в правовой и экономической областях. Теперь можно сказать, что в большей или меньшей степени ряд задач решен, другие находятся еще на стадии решения.

Одним из таких вопросов, находящихся пока еще на стадии решения, является вопрос об установлении для нашей республики статуса экономического суверенитета, или, как это часто называют, республиканского хозрасчета. Не станем здесь доказывать его целесообразность. Кажется, что это теперь уже понятно так же, как необходимость использования принципов хозрасчета в деятельности промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и других предприятий и организаций. Поэтому закономерно в свое время возник вопрос: если есть хозрасчет в бригаде, участке, цехе, на заводе, то почему не может быть территориального хозрасчета? В прошлом году на встрече руко-

водителей партии и правительства нашей республики с председателем Совета Министров СССР Н. Рыжковым было отмечено, что центральные директивные органы заинтересованы в большей экономической самостоятельности республик, чтобы все предприятия, находящиеся на территории республик, участвовали в развитии социальной сферы и агрокомплекса. Стимулирующую роль здесь должны сыграть региональная специфика и территориальные интересы, основывающиеся на исторических, культурных и трудовых традициях каждого народа. Но в то же время Совет Министров и Госплан СССР считают, что республики пока еще не готовы к переходу на хозрасчет, к передаче всех предприятий союзного подчинения в подчинение республиканским органам. Существует опасение, что, мол, в таком случае могут пострадать намеченные темпы роста производства и установившиеся хозяйственные связи между регионами страны.

А что думают сами республики?

Идею регионального хозрасчета положительно восприняли 4 республики — Эстония, Латвия, Литва и Белоруссия. Творческие коллективы этих республик уже почти год работают над теоретическими вопросами экономического суверенитета. Опасения союзных директивных органов коллективы энтузиастов разделяют не полностью, так как квалифицируют их как естественное сопротивление бюрократического аппарата. Следует отметить, что в нашей республике также многие не поддерживают идею экономического суверенитета, обвиняя его сторонников в местничестве.

Практически любые экономические эксперименты в республике союзными ведомствами воспринимались всегда положительно. По-видимому потому, что они не затрагивали их реальной власти, привилегированного положения в распределении земельных ресурсов, порядка решения важных вопросов развития руководимой ими отрасли — таких, как расширение существующих производственных мощностей и строительство новых. Яркий пример сказанному из сопряженной области — политической: происходившие в конце года бурные обсуждения проекта поправок к Конституции СССР, где стремление республики к сохранению и расширению целого ряда конституционных прав также столкнулись с непониманием союзных правительственных органов.

Нередко даже цитирование трудов В. И. Ленина по экономическим, правовым и национальным вопросам союзных республик не могут пошатнуть мнение иных руководителей. Перечить Владимиру Ильичу еще пока они не осмеливаются, обычно отмалчиваются или говорят (нередко с оттенком сомнения), что это вопрос, мол, сложный, его следует изучить и т. п., то есть так или иначе пытаются оттянуть решение. Кстати, закономерным является факт наибольших разногласий между республиканской и центральной позициями на прошлогодней сессии Верховного Совета СССР по обсуждению изменений в Конституции. Разногласия были как раз у республик, стремящихся к внедрению территориального хозрасчета. Это понятно, так как экономический суверенитет невозможен без расширения на местах политических прав и совершенствования прав собственности на средства производства. В своих рассуждениях противники внедрения хозрасчета республики часто обращаются к статистике и утверждают, что Латвия (равно как Литва и Эстония) не сможет нормально прожить, так как имеет отрицательные сальдо баланса ввоза-вывоза продукции, что республика должна союзным ведомствам большие суммы за создание производственных мощностей на ее территории, что придется платить за сырье и энергию (как будто они сейчас поступают бесплатно) и др. Не будем сейчас обсуждать объективность нашей статистики, соответствие стоимости цен на изделия и услуги, корректность методик расчета экономических показателей.

Об этом сказано много. Как же тогда Латвия, имея в течение ряда лет самую старую в стране структуру парка машин и оборудования в промышленности и строительстве, умудрится произвести самый большой национальный доход на душу населения — 2,7 тыс. рублей? По этому показателю в 1987 году она занимала первое место среди союзных республик. За счет какой же из республик живет Латвийская ССР? Ссылаться на необъективность статистики в данном вопросе не следует, так как если в ней и есть ошибки, то они в равной мере искажают экономические показатели всех республик. Может возникнуть вопрос о том, почему другие республики, например среднеазиатские, не стремятся к большей демократии в экономике и политике. По-видимому, уровень развития производительных сил региона недостаточен, сказываются также культурные и этнические особенности развития этих республик. Нравственной структуре народов этих республик ближе авторитарный стиль управления (см. статью О. И. Шкаратана в журн. «ЭКО», 1988 г., № 10).

Справедливости ради следует отметить, что история мирового экономического развития свидетельствует о том, как трудно приходилось ряду стран, добившихся экономической самостоятельности. Когда в них осуществлялась структурная перестройка народного хозяйства, направленная на создание собственных независимых отраслей, больше национального дохода направлялось на реконструкцию народного хозяйства и поэтому несколько замедлялись темпы роста производства и жизненного уровня. Аналогичные процессы происходили во всех развитых капиталистических странах, осуществивших реконструкцию экономики в 70-е годы. По плану на 12-ю пятилетку в нашей стране также намечена крупная реконструкция народного хозяйства, из-за чего часть национального дохода, идущая на потребление, несколько снижена. Поэтому в условиях экономического суверенитета в нашей республике также придется в некоторой степени осуществить структурную перестройку материального производства, более соответствующую характеру производительных сил республики и ее природных ресурсов.

Сегодня, как в недалеком прошлом, с гордостью говорится, что народное

хозяйство республики является большим цехом во всеобщем хозяйственном комплексе. В рамках «цеха» происходит только экономическое воспроизводство, воспроизводство человека. Для такого национально-государственного образования, как союзная республика, этого мало — необходимо еще национально-культурное воспроизводство. Это значит, что экономические решения (на данном уровне развития и внешних условиях) не должны иметь приоритета над национально-духовными ценностями. Поэтому непродуманные действия ряда союзных министерств и ведомств, ставших своеобразными транснациональными компаниями, по существу, презирают национальные интересы, природу, ибо преследуют сугубо практические цели. Самоуправство союзных министерств привело к убыточной экономике, бесконтрольной миграции, экономическим кризисам и неудовлетворенности населения в реализации своих социально-культурных потребностей. В бюджете республики уже много лет выделяются скромные средства на создание и сохранение культурной среды, на образование, искусство. Дело сегодня дошло до того, что мероприятия для поддержания архитектурных памятников, рекреацию местности, помощь детдомам (в стране, где дети — привилегированный класс), пансионатам для престарелых и другое осуществляются в значительной мере за счет добровольных пожертвований, то есть «шапкой по кругу».

Исходя из национально-культурных, социальных соображений и была в республике выдвинута идея экономического суверенитета республики. Разногласия между республикой и центральными союзными органами по вопросу экономического суверенитета заключаются в том содержании распределения функций управления народным хозяйством, которое каждая из сторон вкладывает в принцип федеративного устройства СССР. Надо сказать, что с 1922 года, когда В. И. Лениным были сформулированы эти принципы, они прошли длинный путь развития от первой Конституции СССР до нынешней. К сожалению, развитие этих принципов и их реализация двигались не в сторону дальнейшей демократизации, а наоборот, как это пророчески было сказано в резолюции XII съезда РКП(б): «Союз республик расценивается значительной

частью советских чиновников в центре и на местах не как союз равноправных государственных единиц, призванный обеспечить свободное развитие национальных республик, а как шаг к ликвидации этих республик, как начало образования так называемого «единого-неделимого». Сегодня стремление республики к суверенитету расценивается как шаг назад, как шаг к установлению отношений не на принципах федерации, а конфедерации. Последняя объявляется изжившей формой.

Но почему социалистические страны и союзные республики не могли бы вложить новое содержание в принцип конфедерации? Почему мы так много внимания здесь уделяем правовым вопросам? Да потому, что повышение эффективности производства и укрепление социальной справедливости при распределении произведенного по принципу «каждому по труду» невозможно без пересмотра и закрепления этих принципов правовыми органами. Нужны правовые и юридические гарантии, регулирующие отношения республики с центральными органами и между собой. Нужно создать такие имущественные отношения к средствам производства, чтобы у человека появилось чувство хозяина. Тогда, как это показывает практика использования отношений кооперации, подряда и аренды, резко повышается эффективность работы. Опыт экономического развития страны также свидетельствует, что пока не менялся характер производственных отношений, целый ряд экономических реформ, экспериментов по применению ЭВМ, различных планов, программ, показателей и тому подобное практически не приносил результатов. Поэтому решение ряда экономических проблем лежит в плоскости права. Стоило издать известный закон, и все нелегальные «шабашники» в один миг превратились в уважаемых кооператоров. Понятно, что и республика, как большой коллектив трудящихся, тоже хочет согласовывать свои производственные отношения (свои интересы) с центром, чтобы решать самостоятельно вопросы использования созданного национального дохода — сколько на производство, сколько на потребление, на культуру, образование и т. д. Введение статуса экономического суверенитета везде на местах позволит как бы экспроприировать незаконно сложившуюся ведомственную собствен-

ность в пользу законных владельцев — Советов народных депутатов. В основе экономического суверенитета республики должны быть экономически сильные, самостоятельные хозрасчетные предприятия и организации. Если не поднять на качественно новый уровень производство, экономический суверенитет станет пустым звуком. Для этого нужна очень сильная заинтересованность коллективов предприятий в результатах своей деятельности. Однако существующая практика управления ими к этому не очень располагает. Предприятия союзного подчинения (хорошо работающие) недовольны практикой установления министерством нормативов отчисления от прибыли в фонды экономического стимулирования, а республика — тем, что не менее $\frac{2}{3}$ прибыли этих предприятий перечисляется в бюджет не республики, а Союза. Практически это означает вывоз созданного в республике национального дохода. Предоставленные в Законе о государственном предприятии права предприятий реализуются слабо — как в области планирования, так и материально-технического снабжения и использования доходов. Власть министерств держится на установлении предприятию производственного плана и выделении лимитов на ресурсы, что фактически устанавливает «феодалную» зависимость коллективов. Юрист Б. Курашвили в своей статье в журнале «ЭКО», 1987 г., № 10, пишет, что в условиях закона министерства перешли от открытого к «стыдливому» директивному управлению предприятиями. Разве это не подтверждает продолжающаяся практика иждивенчества плохо работающих предприятий ведомства за счет хорошо работающих? Только убыточных промышленных предприятий в стране насчитывается около 13% (из 45 000 предприятий и объединений), низкорентабельных — 25%. Пока не слышно, чтобы какое-нибудь из них потерпело банкротство. Зато известны случаи, когда коллективы, взяв в аренду плохо работающее предприятие, вывели его в ранг рентабельных. Разве это не свидетельствует о бездействии и безынициативности бюрократического аппарата ведомств при выполнении своих функций? Где уж тут говорить о решении экологических и социальных проблем! Все чаще в последнее время в периодике появляются мысли о том, что ни ! и ни !! модель

распределения доходов хозрасчетного предприятия, по сути, не стимулирует коллектив. Поэтому, в частности, членкорр. АН СССР П. Г. Бунич предлагает распространить на предприятия закон о кооперации. В народе это называется III моделью. Надо поддержать эту инициативу и не задуть ее, как когда-то в 70-е годы поступили со щекинским методом.

Для того чтобы не ждать от центральных союзных ведомств такого рода решений, за их решение должна взяться сама республика. Она должна распоряжаться всеми производительными силами и природными ресурсами на своей территории; иметь право перематривать работу ряда предприятий, создающих экологическую опасность. Нельзя же доводить дело, например, в Вентспилсе, до того, что в качестве товара народного потребления на прилавках города появляются противогазы, как это было показано в документальном фильме «Окно в Европу» по Латвийскому телевидению 28 ноября прошлого года. В этом фильме ярко показан приоритет экономических соображений над человеческими, гуманными. Кажется, жителям Вентспилса за такой «подарок» городу, как Припортовый завод, приносящий стране немало валюты, могли «подарить» что-то их защищающее — очистные установки, перенос причалов, подъездных путей и другие мероприятия, максимально снижающие вредность и опасность работы завода. Но ни в г. Вентспилсе и ни в республике не оседают в полной мере средства за пользование портами и железной дорогой. Ведь порт — это также природное богатство, за использование которого следует платить объективную цену, между прочим так же, как и за другие порты республики и использование коммуникаций. По крайней мере для бюджетов других стран это является неплохой статьей дохода. Чего эти порты «стоят», свидетельствует вековая борьба царской России за «окно» в Европу.

А что говорить о горьком опыте Юрмалы?! Тоже яркий пример взаимоотношений центра с республикой. Здесь также следовало бы своевременно перечислять в местный и республиканский бюджет достаточные суммы с доходов санаториев и пансионатов для осуществления природоохранных мероприятий. Мы уже говорили, что у республики отрицательное сальдо ввоза-

вывоза, что она в долгу перед Союзом. Кажется, что подсчет убытков и необходимых средств на многолетние мероприятия по рекреации (или реанимации) нашей среды обитания (Юрмала, Олайне, Вентспилс и др.) выльется не в одну сотню миллионов рублей. Не считая, конечно, как это принято в соответствующих ведомствах, загубленного здоровья людей («и женщин и детей», как мы любим говорить). Везде и во всем сейчас у нас на достигнутой стадии экономического развития должен быть примат человека над экономикой — нельзя товарный состав пропускать вперед пассажирского (кроме экстремальных условий). Сегодня, на пороге XXI века уже непринципиально говорить о самоотверженном труде, когда было принято отдавать работе все — в ущерб собственному благополучию, семье, здоровью, условиям работы. Не 20-е же годы. Но ведь очень удобно собственную нерасторопность, неумение и нежелание трансформировать в особые, сложные и другие специфические условия, требующие самоотверженного труда.

Введение статуса экономического суверенитета для республики не должно беспокоить союзные директивные органы и ведомства. Конечно, со временем придется все межреспубликанские поставки осуществлять на эквивалентной ценовой основе, на принципах оптовой торговли во всесоюзном рынке. Это может привести к некоторым структурным изменениям в народном хозяйстве республики и перепрофилированию предприятий в соответствии со спецификой производительных сил республики.

Реализация мероприятий для перехода на условия экономического суверенитета может проводиться постепенно. Для начала, скажем, договариваемся, что ближайшие 5 лет республика производство и вывоз продукции в Союз сохраняет на достигнутом уровне и, соответственно, получает на это необходимое сырье и энергию. Но все предприятия союзного подчинения переходят в республиканское подчинение, и, соответственно, вся их прибыль остается на месте. Республика рассчитывается с бюджетом Союза по твердым нормативам. Постепенно во взаимоотношениях со всесоюзными ведомствами вводится реальная стоимость эксплуатации транспортных сооружений с учетом стоимости при-

родоохранных мероприятий. Вводится обоснованный курортный налог с организованных и неорганизованных отдыхающих. В результате союзные органы ничего не теряют, кроме, разумеется, вывозимого от нас национального дохода, который не всегда и не в полной мере возвращался республике. Если в других республиках вырастут цены на сырье, топливо, это войдет в цену производимой нами продукции. Если это (рост цен) не будет удовлетворять центр, то обе стороны могут пересмотреть объем и структуру производства данной группы изделий. Может быть, окажется, что дешевле и выгоднее центру будет построить новый завод, скажем, такой, как РВЗ или ВЭФ, где-то в другом месте или же вести закупку вагонов и телефонных центральных за рубежом за валюту. Это ведет к тому, что часто слышны разговоры, что, мол, куда республика денет свою продукцию. Автор считает, что сохранение взаимных хозяйственных связей выгодно обеим сторонам. Центру в республике выгодно размещать заказы, а республике выгодно получить сырье и энергоносители, а также сбывать продукцию на рынок, пока еще не очень требовательный. Пока на мировом рынке Латвия со своей продукцией является слабым конкурентом.

Таким образом, в течение такого переходного периода обеим сторонам есть время подготовиться к возможным различным изменениям в хозяйственных связях или сохранению установившихся. За этот период времени республика может отработать рыночный механизм, механизм создания совместных предприятий с другими республиками. Например, работают же наши строители в Сибири — строят жилье, дороги и т. п.

Говорят, что поскольку на наших предприятиях осуществлены крупные капиталовложения, как республика собирается за них рассчитываться? Можно договориться. В кредит. А если нет и не нужны они республике — вернуть ведомству. Это несложно. Вспомним 1915 год, когда в связи с приближением немецкой армии к Риге и другим промышленным центрам республики, в короткий срок на 30 000 железнодорожных вагонов было вывезено в Россию оборудование и материалы более 500 заводов стоимостью около 200 млн рублей (тогдашних, не теперешних).

В условиях экономического суверенитета в Латвии серьезно придется заняться проблемой повышения качества выпускаемой продукции, иначе к так нужной нам валюте не подступиться. Важным источником валюты может стать туризм и доходы от транзитных перевозок по авто- и железным дорогам через порты. Используя имеющиеся мощности и традиции, ряд предприятий может заниматься ремонтом и обслуживанием железнодорожного подвижного состава, судов. В республике следует развивать наукоемкие производства — промышленной и бытовой радиоэлектроники, медицинского оборудования и аппаратов. Выгодной для республики может оказаться такая сфера, как подготовка квалифицированных кадров из других регионов страны.

Непременным условием построения и закрепления суверенитета должно быть участие всех жителей республики в решении наших общих задач. Меры по прекращению неконтролируемой миграции должны поднять трудовой энтузиазм и заинтересованность всех в результатах труда. Мы должны шире использовать средства населения для создания различных акционерных предприятий и организаций.

Как быть с деньгами — это тоже многих беспокоит. Существуют различные предложения — от выпуска республикой своих «помеченных» рублей до собственной валюты или об использовании какой-либо из иностранных валют. В КНДР, например, в обращении в различных сферах реализации находятся воны (ден. единица КНДР) трех цветов: зеленые, синие и красные. Есть предложение перейти на чековые расчеты. Кто-то желает возродить латы (ден. единица бурж. Латвии) и т. д. Заслуживает внимания предложение введения одинаковой валюты для всех республик, переходящих на условия суверенитета (как экю в странах Общего рынка). Ясно только одно, что какая-то отличительная валюта должна

быть, иначе республику наводнят деньги в нежелательных размерах.

В целях повышения эффективности производства (а заодно и укрепления своей денежной единицы) и конкурентоспособности продукции в условиях суверенитета республике не обойтись без использования плодов международного разделения труда, без кредитов из социалистических и капиталистических стран. Не исключается привлечение капитала латышских эмигрантов. Например, видный хирург США профессор Кеги согласился вложить капитал в развитие здравоохранения в нашей республике.

Так или иначе еще остается очень много нерешенных проблем более мелкого порядка, над которыми предстоит серьезная работа. Разработку условий и мероприятий по переходу Латвии на условия экономического суверенитета ведет ряд творческих коллективов под руководством академика АН ЛССР А. Калнынша. Впереди еще много теоретических баталий с союзными директивными органами и ведомствами, не желающими упускать из рук реальную власть. Пока еще существует сталинская модель автономизации, предполагающая решительное доминирование центральных органов над республиками, национальными краями, областями. И держится эта власть также на ряде принципов сталинской конституции, окончательно не изжитых из существующей. Также не дано еще корректное объяснение причин принятия решения о ликвидации в 60-е годы совнархозов — зачатков территориальной экономической самостоятельности.

Думается, что решение трудящихся республики по экономической самостоятельности принято правильно и своевременно. Другого пути радикального повышения эффективности производства пока не видно и ничего другого никем не предложено.

Так что попробуем!

ДОСЬЕ «ОДЕССА»

Слово ОДЕССА в заголовке — это ни город в южной России, ни местечко в Америке. Оно представляет собой аббревиатуру, составленную из главных букв немецких слов «Организация бывших членов СС».

СС, как большинство читателей знают, была армией в армии, государством в государстве, возглавляемом Адольфом Гитлером под командой Генриха Гиммлера; нацисты, которые правили Германией с 1933 по 1945 год, предназначали ее для особых целей. Предполагалось, что ими должна быть безопасность третьего рейха; в сущности, СС должно было претворять в жизнь стремление Гитлера очистить Германию и Европу от всех элементов, которые он считал «нежелательными для существования», обратить в рабство «недочеловеков славянских земель» и стереть с лица континента всех евреев — мужчин, женщин и детей.

Проводя в жизнь эти намерения, СС организовало истребление примерно четырнадцати миллионов человеческих существ, в которые входили шесть миллионов евреев, пять миллионов русских, два миллиона поляков, полмиллиона цыган и полмиллиона других, включая (хотя об этом редко упоминалось) около двухсот тысяч немцев и австрийцев, не имевших никакого отношения к евреям. Это были несчастные, страдавшие умственными или физическими заболеваниями или так называемые враги рейха — коммунисты, социал-демократы, либералы, издатели, журналисты, священники,

которые позволяли себе говорить и мыслить с достаточной независимостью, люди, обладавшие совестью и мужеством; позже в их число вошли и те армейские офицеры, которые подозревались в недостаточной лояльности к Гитлеру.

Эсэсовцы метили себя двумя инициалами имени и руническими знаками своей организации, синонимами такой бесчеловечности, которая в человеческой истории не была присуща ни одной власти.

Когда война близилась к концу, руководители СС, видя, что она проиграна и не питая иллюзий относительно того, как цивилизованное человечество отнесется к их деяниям, когда наступит расплата, втайне начали готовиться к своему исчезновению и новой жизни, оставляя германский народ нести кару и принимать проклятия, которых заслуживали исчезнувшие преступники.

Вплоть до самых последних дней огромные суммы в золоте исчезали и клались на номерные счета в банках, готовились фальшивые документы, отработывались пути бегства. И когда Соединенные Нации наконец захватили Германию, основная масса организаторов массовых убийств исчезла.

Организация, созданная, чтобы обеспечить их бегство, называлась ОДЕССА. Когда она достигла своей цели, обеспечив убийц наиболее благоприятным климатом, ее претензии возросли. Многие нацисты вообще никогда не покидали Германии, предпочитая скрываться под фальшивыми именами и

документами, пока Германией правят Соединенные Нации; другие вернулись под надежным прикрытием новых данных. Несколько самых высокопоставленных личностей остались за границей, чтобы руководить организацией из безопасности комфортабельного изгнания.

ОДЕССА ставила и продолжает ставить перед собой пять основных целей: реабилитировать бывших членов СС на службе новой Федеральной Республики, созданной в 1949 году, инфильтроваться хотя бы в нижние эшелоны политических партий, высоко оплачивать самых лучших защитников любых убийц из СС, представших перед судом, и любым возможным путем препятствовать осуществлению справедливости в Западной Германии, когда она была направлена против бывших *campesinos*, поддерживать бывших членов СС, которые захотят найти свое место в коммерции и промышленности, чтобы они успели укрепиться на волне «экономического чуда», и, наконец, внедрять в сознание немецкого народа точку зрения, что убийцы СС, в сущности, на самом деле были обыкновенными солдатами-патриотами, которые выполняли свой долг перед отечеством и ни в коем случае не заслуживают тех обвинений, которые правосудие тщетно пытается возложить на них.

Имея за спиной огромные суммы денег, они не без успеха добивались осуществления всего, что поставили перед собой, а попытки вынести им наказание через суд сплошь и рядом обращались в фарс. Несколько раз меняя наименование, ОДЕССА отрицала само свое существование, и многие немцы искренне считали, что такой организации в действительности не существует. На это можно ответить кратко: она существует, и «камераден» из братства Мертвой Головы по-прежнему связаны с ней.

Таким вступлением английский писатель Фредерик Форсайт предвещает свой роман «Досье ОДЕССА», рассказывающий о всемирной зловещей сети организации бывших эсэсовцев. Организической частью в роман входит глава «Дневник Соломона Таубера», рассказывающая о существовании и гибели рижского гетто. Мы сочли возможным предложить ее перевод читателям «Даугавы» — не смягчая и не убирая шокирующих подробностей.

ДНЕВНИК СОЛОМОНА ТАУБЕРА

Мое имя Соломон Таубер, я еврей, и жизнь моя подходит к концу. На земле не осталось больше ничего, ради чего стоило бы жить. Все то, ради чего я пытался существовать, кончилось крахом и мои усилия оказались тщетны. Потому что зло, которое мне довелось увидеть, живет и процветает, а добро предано поношению и вывалено в грязи. Мои друзья, страдальцы и жертвы — все они мертвы, и вокруг меня лишь те, кто преследовал их. Я встречаю их лица на улицах при свете дня, а по ночам я вижу глаза моей жены Эстер, которая давно умерла. Я же вложил свою жизнь так долго только потому, что оставалось нечто, что я хотел совершить, нечто, что я хотел бы увидеть, но теперь я знаю, что этого никогда не произойдет.

Я не испытываю по отношению к немецкому народу ни ненависти, ни горечи, потому что это хороший народ. Народ не может воплощать в себе зло; зло несут в себе только отдельные люди. Английский философ Берк был прав, когда говорил: «Я не вижу смысла в обвинении целой нации».

После того как я прошел концентрационные лагеря в Риге и Штуттгофе, пережил Марш Смерти в Магдебург, и в апреле 1945 года союзники освободили мое тело, оставив в цепях лишь душу, я ненавидел весь мир. Я ненавидел и людей, и деревья, и камни, потому что все они были против меня и заставляли меня страдать. И кроме всего, я ненавидел немцев. Я вопрошал и тогда, и в течение тех предшествующих четырех лет, почему Господь не уничтожил их всех, до последнего человека, мужчины, женщины и ребенка, не разрушил их города и не стер навечно их дома с лица земли?

Но по мере того, как шло время, я снова обрел способность любить; любить деревья и скалы, небо над головой и реку, текущую через город, бродячих собак и кошек, траву, пробивающуюся сквозь кладку мостовой, и детей, которые бежали прочь от меня на улицах, ибо я был уродлив. Я не мог проклинать их. Есть французская пословица «Все понять — все простить». Если можно понять народ, его легковерие и его страхи, его алчность и подчинение силе, его равнодушные и преклонение перед тем, кто кричит громче всех, то его можно простить. Да, можно прос-

тить даже то, что они делали. Но не забыть.

Есть люди, чьи преступления превосходят любое понимание и тем самым недостойны прощения, и в этом подлинная беда. Потому что они по-прежнему среди нас; они ходят по тем же улицам, работают в конторах, обедают в кафе, улыбаются, пожимают руки тем, кого по старой привычке называют *cameraden*. И они продолжают существовать не как изгои, чья вина наложила вечное неизгладимое пятно на целый народ, а как процветающие граждане.

По мере того как шло время, ко мне возвращалась любовь к Господу, и просил у Него прощения за те вещи, которые я делал, нарушая Его заповеди, и их было не счесть...

ШМА ИСРОЭЛ, АДОНАЙ ЭЛОХЕНУ,
АДОНАЙ ЭХАД...

На первых двадцати страницах дневника Таубер описывает свое рождение и детство в Гамбурге, своего отца, рабочего, героя войны, и смерть своих родителей вскоре после прихода Гитлера к власти в 1933 году. В конце тридцатых годов он женился на девушке Эстер, работал архитектором и до 1941 года избежал ареста благодаря помощи своего хозяина. В конце концов он был арестован в Берлине во время поездки к клиенту. Проведя некоторое время в транзитном лагере, он вместе с другими евреями был погружен в вагон для скота, и эшелон отправился куда-то на восток.

Я не в состоянии вспомнить то число, когда поезд, загромыхав, остановился на конечной станции. Я думаю, прошло шесть дней и семь ночей после того, как нас в Берлине погрузили в грузовик. Внезапно поезд остановился, проблески света дали мне понять, что это был день, а моя голова кружилась от истощения и тяжелых запахов.

Снаружи были слышны крики; засовы с дверей откинули, и дверные проемы широко распахнулись наружу.

Охранники СС, открывшие дверь, с грубыми, человекоподобными лицами, переключаясь на язык, который я не понимал, отступили назад, не скрывая своего отвращения. Внутри теплушки, скорчившись на полу, лежали тридцать человек. Им уже никогда не доведется встать на ноги. Оставшиеся, измученные голодом, полуслепые, кутаясь с головы до ног в свои лохмотья,

сгрудились на платформе. От жажды наши опухшие языки не помещались во рту, а потрескавшиеся губы кровоточили.

Внизу под платформой разгружались сорок грузовиков из Берлина и все семнадцать из Вены; половина прибывших были женщины и дети. Многие из женщин и почти все дети были голыми, покрыты экскрементами и в таком же плохом состоянии, как и мы. Кое-кто из женщин, выходя на свет, несли на руках безжизненные тела своих детей.

Охранники носились по платформе взад и вперед, ударами дубинок сбивая прибывших в некоторое подобие колонны, которая должна была направиться в город. Но что это был за город? И на каком языке говорят эти люди? Позже я выяснил, что мы находились в Риге, а стражники СС состояли из местных латышей, которым был свойствен столь же жестокий антисемитизм, как и немецким эсэсовцам, но они отличались куда меньшим интеллектом, чем их хозяева.

За линией охранников стояла запуганная группа людей в грязных брюках и рубашках, и на груди каждого было по черной метке с буквой «йота». Это была специальная команда из гетто, пригнанная сюда, чтобы выгрузить из вагонов и машин мертвые тела и захоронить их вне города. Они также находились под охраной полудюжины человек, носивших ту же букву на спине и на груди, но на рукавах их были повязки и они были вооружены дубинками. Это были еврейские капо, надсмотрщики, которые за исполняемую ими работу получали чуть лучший рацион, чем остальные обитатели гетто.

Когда мои глаза немного привыкли к свету, я увидел под навесом станции несколько офицеров СС. Один из них стоял на куче груза, с легкой, но довольной усмешкой обозревая несколько тысяч живых скелетов, вывалившихся из вагонов. Черным блестящим хлыстиком он похлопывал себя по сапогу. На нем был зеленый мундир с черно-серебряными молниями СС на правом лацкане френча, а знаки на левом лацкане говорили о его капитанском звании.

Он был высок и строен, светловолос, с водянистыми голубыми глазами. Позже я узнал, что он отличался изощренным садизмом и уже тогда был известен под именем, которое Соединенные

¹ Начальные строки древнееврейской молитвы на иврите.

Нации едва ли не официально присвоили ему — Рижский Мясник. Так я впервые увидел капитана СС Эдуарда Рошмана . . .

22 июня 1941 года в пять часов утра 130 дивизий Гитлера, объединенных в три армейские группировки, пересекли восточные границы рейха, начав вторжение в Россию. Позади каждой группы армии двигалась орда эсэсовских зондеркоманд, руководимых Гитлером, Гиммлером и Гейдрихом; их целью было уничтожение коммунистов, комиссаров, маленьких еврейских местечек, раскиданных по пространствам, где шла армия, а также превращение еврейских общин больших городов в гетто, где евреи позднее подвергались «специальному обращению».

Армия взяла Ригу, столицу Латвии, 1 июля 1941 года. Первые команды СС окончательно расположились в Риге к 1 августа. Они приступили к осуществлению программы уничтожения, которая должна была сделать Остланд (так были переименованы три прибалтийские республики) свободным от евреев.

Тогда в Берлине и было решено сделать Ригу транзитным лагерем для евреев из Германии и Австрии, направляемых на смерть. В 1938 году в этих странах жило 320 000 немецких евреев и 180 000 австрийских — всего ровно полмиллиона. К июлю 1941 года с десятками тысяч из них было покончено, главным образом в концлагерях, находящихся на территории Германии, таких, как Заксенхаузен, Маутхаузен, Равенсбрюк, Дахау, Бухенвальд, Бельзен и Терезиенштадт в Богемии. Но они были переполнены, и обширные пространства на востоке представляли прекрасную возможность покончить со всеми остальными. Работа началась с того, что были расширены старые и заложены шесть новых лагерей уничтожения Аушвиц, Трелинка, Белзец, Собибор, Хелмно и Майданек. До момента их окончания должно было быть найдено место, где можно было бы и уничтожить максимально большое количество евреев и «складировать» остальных. Выбор пал на Ригу.

Между 1 августа 1941 года и 14 октября 1944 года в Ригу было доставлено почти 200 тысяч только немецких и австрийских евреев. Восемьдесят тысяч были здесь уничтожены, а 120 тысяч отправлены в шесть вышеупомянутых лагерей уничтожения в южной Польше; остались в живых только четыреста человек, половина из которых погибла во время Марша Смерти в Магдебург. Транспорт, с которым прибыл Таубер, был первым из рейха в Ригу, и он был здесь в 15.45, 18 августа 1941 года.

Рижское гетто было частью города и служило домом рижским евреям, из которых к моменту моего прибытия оставалось лишь несколько тысяч. Меньше чем за три недели Рошман и его заместитель Краузе успели уничтожить большинство из них.

Гетто располагалось в северной части города. С юга его отгораживала высокая стена, остальные три стороны были опоясаны рядами колючей проволоки. В северной же части были единственные ворота, охранявшиеся стражниками. На двух вышках стояли латышские эсэсовцы. От этих ворот прямо к южной стене через центр гетто вела улица Маза Калну. С правой стороны (если двигаться с юга на север к главным воротам) была Блех-плац, где происходила селекция или уничтожение, переключки, отбор в рабочие партии, избивания и казни через повешение. В центре площади стояла виселица с восемью крюками, на которых ветер качал неизменные петли. Каждую ночь там болталось не меньше шести несчастных, а часто не хватало и восьми крюков, чтобы Рошман был полностью удовлетворен результатами дня.

Гетто в целом занимало площадь до двух квадратных миль, где в свое время размещалось от 12 до 15 тысяч горожан. Перед самым нашим прибытием сюда 2000 оставшихся рижских евреев провели кое-какие каменные работы, так что места, предназначенного для нашего транспорта, в котором было примерно 5000 человек, было более чем достаточно. Но после нас транспорта стали прибывать день за днем, пока население нашей части гетто выросло до 30—40 тысяч, и появление каждого нового транспорта приводило к уничтожению определенного количества обитателей гетто, чтобы дать место новоприбывшим.

По мере того как лето переходило в осень, а осень в зиму, условия жизни в гетто становились все хуже. Каждое утро все его население, в основном мужчины, потому что подавляющее большинство женщин и детей было уничтожено почти сразу же по прибытии, собиралось на Блех-плац, подталкиваемое прикладами латышских эсэсовцев, и начиналась переключка. Имен не называли, нас просто пересчитывали и делили на рабочие группы. Почти все обитатели гетто, мужчины и оставшиеся в живых женщины и дети, каждый день в колоннах покидали гетто, и их ждали двенадцать часов работы в близлежащих мастерских и на предприятиях.

С самого начала я назвался плотником и был послан на лесопилку, где спиленные сосны превращались в пиломатериалы для нужд армии.

Работа была изматывающая, она могла довести до изнеможения даже здорового человека, потому что и летом, и зимой мы работали в основном вне помещений, в холоде и сырости низменных мест на побережье Латвии.

Наш рацион составлял пол-литра так называемого супа, представлявшего собой чуть подкрашенную водичку, иногда с куском картошки в ней, который мы получали по утрам перед выходом на работу, и другого пол-литра с ломтиком черного хлеба и заплесневелой картофелиной, что выдавался по вечерам после возвращения в гетто.

Когда колонна каждый вечер тянулась через главные ворота, Рошман в сопровождении нескольких своих подручных стоял у входа, время от времени проверяя кого-то из идущих. Иногда они наобум выхватывали из колонны мужчину, женщину или ребенка и сдирали с него одежду. Если удавалось обнаружить кусок хлеба или картофелину, преступник должен был ждать, пока мимо него не пройдет вся колонна, направляясь для вечерней переключки на центральную площадь.

Когда все были в сборе, Рошман выступал вперед, сопровождаемый эсэсовцами, которые вели дюжину или около того приговоренных. Они должны были, поднявшись на платформу, с петлями на шеях ждать окончания переключки. Рошман, прохаживаясь вдоль ряда смертников, улыбался в направлении на него сверху лица и одну за другой вышибал из-под ног подпорки. Он любил это делать, стоя перед человеком, чтобы тот, умирая, мог видеть его лицо. Иногда он, собираясь вышибить подпорку, в последний момент отдергивал ногу. И покачивался с хохоту, видя, как человека с петлей на шее передергивала предсмертная дрожь, поскольку он уже чувствовал, как затягивается петля, но приходя в себя, видел, что подпорка все еще на месте.

Время от времени приговоренные зывали к Богу, порой они молили о милосердии, и Рошман нравилось слушать их. Он притворялся, что глуховат, прикладывал руку ковшиком к уху и переспрашивал: «Не можете ли вы повторить? Что вы там говорите?»

И вышибив подпорку — чаще всего это был просто деревянный ящик — он поворачивался к своим подручным и говорил: «Мои дорогие, я в самом

деле должен приобрести слуховой аппарат . . .»

Через несколько месяцев Рошман в самом деле стал истинным дьяволом для своих заключенных.

Если удавалось поймать женщину, проносившую продукты в лагерь, ее заставляли предвзвешенно наблюдать, как вешают мужчин, особенно если среди них был ее муж или брат. Затем Рошман заставлял вставать ее на колени перед всеми нами, окружавшей площадью с трех сторон, и парикмахер гетто брил ее наголо.

После переключки не выводили на кладбище, расположенное вне стен гетто, заставляли копать себе могилу, затем ставили на колени на краю, и Рошман или кто-нибудь из его подчиненных всаживали из люгера ей пулю в затылок. Никому из нас не удавалось наблюдать эти экзекуции, но среди латышей из охраны ходили слухи, что иногда Рошман стреляет у женщины над ухом, и когда она в шоке падает в могилу, он заставлял ее выбираться оттуда и снова занимать ту же позицию на краю ямы. В другой раз он мог нажать курок пистолета, в котором не было патронов, так что раздавался только щелчок, а женщина была уверена, что уже умирает. Эсэсовцы из латышей были жестоки, но Рошман заставлял удивляться даже их . . .

В конце этой первой зимы я был уверен, что долго не протяну. Голод, холод, сырость, изнурительные работы, царящая вокруг постоянная жестокость превратили меня, некогда довольно сильного человека, в мешок с костями. Из осколка зеркала на меня смотрел изможденный, обросший старик с красными глазами и впалыми щеками. Мне только что минуло тридцать пять, но я выглядел вдвое старше своих лет. Впрочем, так же выглядели и все остальные.

Я был свидетелем того, как угоняли десятки тысяч людей к массовым могилам в лесу, как сотни умирали от голода, изнеможения и каторжного труда, как вешали, расстреливали и забивали людей. И после пяти месяцев такой жизни я понимал, что живу уже в долг. Жажда жизни, которая была присуща мне, еще когда я вышел из поезда, покинула меня, не оставив после себя ничего, кроме механической привычки существовать, которая рано или поздно должна была закончиться. Но в марте

случилось нечто, давшее мне силы еще на какое-то время.

Я и сейчас помню эту дату. То было 3 марта 1942 года, день, когда пришел второй транспорт в Динамюнде¹. Месяц тому назад мы видели, как приехал какой-то странный фургон. Размерами он напоминал большой автобус, был окрашен в серо-стальную краску и в нем не было окон. Он стоял у ворот гетто, и после утренней переклички Рошман объявил, что в Динамюнде, на берегу реки, в нескольких милях от Риги, начинается работать новая рыбоперерабатывающая фабрика. Работа на ней нетрудная, вдоволь хорошей пищи и отличные условия жизни. Поскольку работа необременительная, возможность уехать туда предоставляется только старикам, женщинам, маленьким детям, больным и слабым.

Естественно, многие изъявили желание обрести такие условия работы. Рошман шел вдоль рядов, отбирая желающих, и на этот раз старые и больные, которые обычно старались скрыться в задних рядах, чтобы избежать направления на казнь, с криками и протестами протискивались вперед, стараясь обратить на себя внимание. Наконец было отобрано около сотни человек, и все они направились к фургону. Двери были наглухо задрены, и провожавшие проверили плотность запоров. Фургон двинулся с места, но ни одного клочка дыма не показалось из выхлопной трубы. Все стало ясно, когда фургон уже исчез из виду. Не существовало никакой фабрики в Динамюнде; фургон был душегубкой. И в лексиконе гетто появилось новое выражение: «Транспорт в Динамюнде», что означало смерть от выхлопных газов.

3 марта по гетто стали тихонько распространяться слухи, что ожидается еще один транспорт в Динамюнде, и в самом деле, на утренней перекличке Рошман объявил об этом. Но на этот раз добровольцы уже не пробивались вперед, и со своей широкой улыбкой Рошман стал прохаживаться по рядам, тыкая стэком в грудь тому, кто должен был отправиться к фургону. Он продуманно начал обход с задних рядов, где должны были скрываться слабые, старые и уже непригодные для работы люди.

Среди них была одна пожилая женщина, которая, предвидя все, что произойдет, заняла место в первых рядах. Ей должно было быть около шестидесяти пяти лет, но стремясь остаться в живых, она надела туфли на высоких каблучках, шелковые чулки, короткую юбку выше колен и соломенную шляпку. Она нарумянила щеки, напудрила лицо и нарисовала губы кармином. В сущности, она могла бы занять место среди любой группы узников гетто, но решила, что должна выглядеть и вести себя, как молодая девушка.

Поравнявшись с ней, Рошман остановился и внимательно оглядел ее с головы до ног. Затем по лицу его расплылась радостная улыбка.

— Итак, что мы здесь имеем! — воскликнул он, указывая на нее стеком, чтобы привлечь внимание своих коллег, стороживших в центре площади сотню уже отобранных обитателей гетто. — Не хотите ли вы, девушка, совершить небольшую прогулку в Динамюнде?

Трепеща от страха, пожилая женщина прошептала: «О нет, герр Рошман».

— В таком случае, сколько же вам лет? — рявкнул Рошман, пока его эс-совцы покатывались со смеху. — Семнадцать, двадцать?

У женщины стали подгибаться колени. — Да, герр Рошман, — прошептала она.

— Прекрасно! — вскричал Рошман. — Что ж, мне всегда нравились красивые девушки. Выходите в центр площади, чтобы все могли полюбоваться на вашу молодость и красоту.

С этими словами он, схватив ее за руку, вытолкнул к центру Блех-плац. Заставив ее встать на свободное место, он сказал:

— Итак, милашка, коль скоро ты так молода и обаятельна, может быть, ты станцуешь для нас, а?

Стоя здесь, она дрожала от холодного ветра и содрогалась от страха. Ее шепот был еле слышен.

— В чем дело? — рявкнул Рошман. — Вы не можете танцевать? О, я уверен, что такое прелестное юное существо, как вы, конечно же может танцевать.

Немцы-эс-совцы почти стонали от смеха. Латыши ничего не понимали, но и они начали ухмыляться. Пожилая женщина отрицательно покачала головой. С лица Рошмана исчезла улыбка.

— Танцуй! — зарычал он.

Она сделала несколько слабых нере-

¹ Так немцы называли Болдерая.

шительных движений, затем остановилась. Рошман выхватил свой люгер, передернул затвор и выстрелил в песок в дюйме от ее ног. От испуга она подпрыгнула едва ли не на фут.

— Танцуй... танцуй... танцуй для нас, ты, паршивая еврейская шлюха! — заорал он, всаживая в песок пулю за пулей с каждым словом. — Танцуй!

У Рошмана было три обоймы, и, опустошая их одну за другой, он заставил ее танцевать полчаса; юбка ее с каждым прыжком развевалась вокруг ног, пока наконец женщина не рухнула ничком в песок, не понимая, жива она или мертва. Рошман всади́л три последние пули у ее лица так, что песок брызнул ей прямо в глаза. В промежутках между выстрелами по всей площади разносилось тяжелое хрипящее дыхание пожилой женщины.

Когда у него кончились патроны, Рошман снова крикнул «Танцуй!» и пнул женщину сапогом в живот. Все, что происходило, собравшиеся наблюдали в полной тишине, пока человек, стоявший рядом со мной, не начал молиться. Он был хасид, маленький и бородастый, по-прежнему носивший лохмотья, оставшиеся от длинного черного сюртука; несмотря на холод, заставлявший нас натягивать шапки и ушанки до ушей, на нем была широкополая хасидская шляпа. Речитативом он начал Шему, дрожащим голосом, который становился все громче и громче, повторяя ее слова снова и снова. Понимая, что Рошман находился в предельной ярости, я тоже начал молиться, но тихонько, надеясь, что хасид примолкнет. Но он не переставал.

— Слушай, о Израиль! . . .

— Заткнись! — прошептал я уголком рта.

— Адонай элохену . . . Господь наш есть наш Бог . . .

— Замолчи . . . Ты добьешься, что всех нас расстреляют . . .

— Господь един . . . Адонай Эха-а-а!

Подобно кантору, он протянул последний слог в традиционной манере, как рабби Акива, умиравший в амфитеатре Цезарей по приказу римского владыки. Это произошло как раз в тот самый момент, когда Рошман перестал орать на старуху. Подняв голову, подобно животному, приноживавшемуся к порыву ветра, он посмотрел на нас.

Поскольку я был на голову выше хасида, взгляд его упал на меня.

2 — Кто там вопит? — проскрежетал он, направляясь через площадь к нам. — Ты . . . выйди из строя! — Вне всякого сомнения он указывал на меня. «Теперь пришел конец, — подумал я. — Ну и что? Все неважно, это должно было случиться, сейчас или потом». — Когда он оказался передо мной, я сделал шаг вперед.

Он не говорил ни слова, а лицо его было искажено гримасой маньяка. Наконец он расслабился, и на губах его зазмеялась та тихая волчья усмешка, которая наводила ужас на всех в гетто, даже на латышских стражников.

Рука его дернулась так резко, что никто не успел уловить это движение. Одновременно с оглушительным грохотом, словно под ухом у меня взорвалась бомба, я почувствовал лишь удар, обрушившийся на левую сторону лица. Затем странное, но совершенно отчетливое ощущение, что моя кожа от меня до рта рвется, словно ситец. И прежде чем брызнула кровь, рука Рошмана взметнулась еще раз, и стек рассек мое лицо со второй стороны — я снова почувствовал тот же грохот в ухе и снова мне показалось, что кожа лопается. Предмет, который он держал в руке, представлял собой двухфутовый хлыст со стальной сердцевинкой, обшитой кожей, заканчивающийся плеткой в фут длиной, и когда он полосовал человека вдоль и поперек, кожа рвалась, как бумага. Я сам это не раз видел.

Через секунду потоки крови, бившие из двух фонтанчиков на рассеченной голове, стали заливать мне грудь. Рошман отошел от меня, затем снова вернулся и указал на старую женщину, все еще плакавшую в центре площади.

— Возьми это старое дерьмо и оттащи ее в фургон! — рявкнул он.

За несколько минут перед тем, как должна была появиться сотня отобранных жертв, я поднял старую женщину и понес ее по Маза Калну к воротам и ожидавшему фургону, заливая ее кровью, лившейся с моего подбородка. Я посадил ее, прислонив к задней стенке фургона, и решил оставить ее здесь. Дрожащими пальцами она вцепилась мне в руку с такой силой, которую я не мог предполагать в ней. Скорчившись, она притянула меня к себе, и маленьким батистовым платочком, который остался у нее с лучших

времен, попыталась остановить льющую кровь.

Она посмотрела на меня снизу вверх; лицо ее было в подтеках косметики, румян, слез и грязи, но темные глаза ее сияли как звезды.

— Сын мой, — прохрипела она, — ты еврей, и ты должен жить. Поклянись мне, что ты выживешь. Поклянись мне, что ты выйдешь отсюда живым. Ты должен жить, чтобы рассказать тем, по ту сторону, что случилось с нашим народом. Обещай мне . . . поклянись Сефер Тойрой.

И я поклялся ей, что выживу, неважно, какую цену придется за это заплатить. Тогда она отпустила меня, я побрел обратно в гетто и на полдороге потерял сознание . . .

Вскоре после возвращения к работе я принял два решения. Во-первых, я начал тайне вести дневник, по ночам вытатуировывая булавкой и чернилами на бедрах и голених имена, даты и цифры, чтобы, когда наступит день, я смог рассказать обо всем, что происходило в Риге, и дать неопровержимые свидетельства против тех, кто был за это ответствен.

Во-вторых, я решил стать капо, членом еврейской полиции.

Принять это решение было очень тяжело, потому что теперь я входил в число тех, кто гнал своих соплеменников-евреев на работу и обратно, а часто и к месту казни. Тем не менее 1 апреля 1942 года я подошел к главе капо и выразил желание добровольно стать изгоем из числа всех прочих евреев. Несмотря на то, что капо жили в отдельном помещении, получали лучший рацион, были свободны от рабского труда, мало кто соглашался взять на себя эти обязанности . . .

Я хотел бы здесь описать метод, при помощи которого в Риге по приказам Эдуарда Рошмана уничтожались те, кто был более не в силах работать, потому что таким образом погибли от 70 до 80 тысяч евреев. Когда на станцию в теплушках приходил новый состав с заключенными, в нем обычно было до пяти тысяч человек, еще достаточно пригодных для работы, и около тысячи, умерших в пути. Редко трупов было меньше нескольких сотен, разбросанных по разным вагонам.

Жертвы, сформированные в колонны, шли к лесу, расположенному на окраине города. Латыши называли его Бикерниекским лесом, а немцы пере-

именовали его в Хохвальд, или Высокий Лес. Здесь, на полянках среди сосен, рижские евреи перед смертью копали огромные могилы. И здесь под пристальным и по приказу Эдуарда Рошмана латышские эсэсовцы косили их одного за другим, пока они не наполнили собой эти ямы. Когда яма бывала заполнена, рижские евреи засыпали ее землей. Затем принимались копать новую.

Из гетто мы слышали трескотню пулеметов, когда уничтожался очередной контингент, а затем, когда все было кончено, мы видели, как Рошман возвращался с экзекуции, въезжая в ворота гетто в открытой машине . . .

После того как я стал капо, все социальные контакты между мной и остальными сошли на нет. Я никому не мог объяснить, почему я сделал это, что одним капо больше или меньше, не имеет значения, так же как увеличение списка погибших на одну единицу, что куда важнее, если хоть один-единственный свидетель останется в живых — и пусть ему не удастся спасти немецких евреев, но он хотя бы сможет отомстить за них. Этот единственный аргумент я непрестанно повторял про себя, но только ли в нем было дело?! Или я просто боялся смерти? Что бы там ни было, страх скоро перестал быть для меня существенным фактором, потому что в августе этого года случилось нечто, после чего душа моя умерла, оставив лишь телесную оболочку, обтянутую кожей, которая продолжала бороться за жизнь . . .

В августе 43 года пришел очередной транспорт из Терезиенштадта, лагеря в Богемии, где содержались десятки тысяч немецких и австрийских евреев перед отправкой на восток для уничтожения. Я стоял на краю площади, наблюдая, как Рошман прохаживается по рядам, производя отбор. Новоприбывшие уже были обриты наголо, что было сделано в предыдущем лагере, и поэтому было нелегко отличить мужчин от женщин, если не считать одежды. Через площадь я увидел женщину, которая привлекла мое внимание. В ее чертах было нечто, что колоколом взорвалось в моем мозгу, хотя она была истощена, худа как мощи и непрерывно кашляла.

Проходя мимо нее, Рошман ткнул женщину в грудь и двинулся дальше. Следовавший за ним латыш за руку вытащил женщину из строя и присоеди-

нил к остальным в центре площади. В прибывшем транспорте было много истощенных, непригодных для работы людей, и список непрерывно пополнялся. Это означало, что кое-кому из нас также придется пополнить его, но для меня вопрос этот носил академический характер. Как капо я обладал дубинкой, носил на рукаве повязку, и пища, что была чуть получше рациона для заключенных, подкрепляла мои силы. Хотя Рошман видел мое лицо, он не запомнил его. Столь многих он натмашь бил по голове, что одним больше или меньше не привлекало его внимания.

Большинство из тех, что были отобра- ны в этот летний вечер, капо выстроили в колонну и повели к воротам гетто. Оставшиеся четыре мили до Бикерни- екского леса, где их ждала смерть, колонну вели латыши.

Но у душегубки, расположившейся у ворот гетто, стояла группа человек в сто, самых слабых и бессильных. Я сопровождал обреченных мужчин и женщин к воротам гетто, когда лейте- нант СС Краузе указал на четырех или пятерых капо: «Эй вы! — крикнул он. — Засуньте-ка этих в транспорт на Динамюнде».

Колонна ушла, а мы впятером сопро- водили последнюю партию из них, по- шатывающихся, согбенных и кашляю- щих людей, к воротам, где их ждал фургон. Там была и худая женщина, чья грудь была изъедена туберкуле- зом. Она знала, что ее ждет, все они знали, но, как и все, она с покорной обреченностью подошла к фургону. Она была слишком слаба, чтобы само- стоятельно вскарабкаться, поскольку задний борт фургона был высоко над землей, и поэтому она обернулась ко мне за помощью. Ошеломленные, в изумлении, мы стояли и смотрели друг на друга.

Я слышал, что за моей спиной кто-то появился, и так как остальные капо то- ропливо стянули головные уборы, я по- нял, что это был кто-то из офицеров СС. Я сделал то же самое. Женщина по-прежнему не мигая смотрела на меня. Человек, стоявший за моей спи- ной, вышел вперед. Это был капитан Рошман. Он кивнул остальным капо, разрешая им надеть головные уборы, и в упор посмотрел на меня своими бледно-голубыми глазами. Я подумал, что сегодня вечером меня забьют ду-

бинками за то, что я не поторопился стянуть шапку.

— Как тебя зовут? — мягко спросил он.

— Таубер, герр капитан, — ответил я, вытанувшись во фронт.

— Похоже, что ты не очень поторап- ливаешься, Таубер. Не кажется ли тебе, что вечером тебя надо немного под- бодрить?

Отвечать не было смысла. Приговор был вынесен. Глаза Рошмана перешли на женщину и сузились, словно он что-то заподозрил, а затем губы его мед- ленно расплылись в волчьей усмешке.

— Ты знаешь эту женщину? — спро- сил он.

— Да, герр капитан, — ответил я.

— Кто она? — спросил он. Я не отве- тил. Мои губы были стянуты, словно рот был наполнен клеем.

— Это твоя жена? — продолжал он. Я тупо кивнул. Улыбка его стала еще шире.

— Ну-с, итак, мой дорогой Таубер, что ты намерен делать? Помоги же да- ме залезть внутрь.

Я все еще стоял, не в силах двинуться. Он подошел ко мне вплотную и проши- пел: — У тебя есть десять секунд, что- бы засунуть ее туда. Потом полезешь сам.

Медленно я протянул руку, и Эстер облокотилась на нее. С моей помощью она вскарабкалась в машину. Осталь- ные двое капо ждали нас, чтобы за- драить двери. Уже поднявшись, она сверху посмотрела на меня, и из глаз ее потекли слезы, которые скользнули по щекам. Она по-прежнему молчала, мы не перемолвились ни одним словом. Затем двери захлопнулись, и фургон тронулся. И ее глаза, смотрящие на меня, было последнее, что я видел.

Двадцать лет я провел, пытаюсь по- нять, что она хотела сказать последним своим взглядом. Была ли то любовь или ненависть, понимание или сожале- ние, растерянность или сочувствие? Я никогда не узнаю этого.

Когда фургон уехал, Рошман, по- прежнему улыбаясь, повернулся ко мне.

— Пока нам не понадобится прикон- чить тебя, ты можешь существовать, Таубер, — сказал он, — но отныне ты мертвец.

И он был прав. В этот день, 29 августа 1942 года, душа моя умерла.

С августа этого года я стал роботом. Ничего более не волновало меня. Я не

чувствовал ни холода, ни боли, никакие чувства не посещали меня. Не моргнув глазом я наблюдал жестокости Рошмана и его подручных. Я приучил себя не воспринимать ничего, что могло бы тронуть человеческую душу и большинство из того, что причиняет страдания плоти. Я только отмечал все, каждую мельчайшую деталь и или складывал их в какие-то отдаленные участки мозга или накалывал сведения на кожу ноги. Это была пустота трупов...

Осенью 1943 года из Берлина пришел приказ выкопать десятки тысяч трупов в Бикерниеском лесу и уничтожить их, используя для этой цели то ли огонь, то ли негашеную известь. Этот приказ было легче отдать, чем выполнить, потому что шли холодные дни и земля уже была схвачена морозом. Рошман пребывал в отвратительном расположении духа, но административные детали выполнения приказа заставляли его быть настолько занятым, что он оставил нас в покое.

День за днем все новые и новые рабочие отряды, вооруженные ломом и лопатами, таянулись в лес, и день за днем оттуда поднимались столбы черного дыма. Для топлива они использовали сосновые ветки, но не полностью разложившиеся трупы горели нехотя и работа шла медленно. Тогда прибегали к извести, покрывая ею трупы ряд за рядом, и весной 1944 года, когда земля оттаяла, дело пошло скорее¹.

Те, кто работал по переработке трупов, были не из гетто. Их полностью изолировали от всех контактов. Это были евреи из одного из самых худших лагерей, располагавшихся по соседству, Саласпилса, где их впоследствии уничтожили голодом, так что все они перемерли и их не спас даже каннибализм...

Когда весной 1944 года это задание было более или менее выполнено, началась ликвидация гетто. Большинство из его 30 тысяч обитателей пересекли сосновый лес, готовясь стать последними жертвами, которых ждал покой под сенью сосен. Гетто занялось пламенем, и пока последние 5 тысяч из нас готовились к переброске в лагерь Кайзервальд, бульдозеры уже разравнивали пепел. От того, что когда-то

здесь было, не осталось ничего, кроме сотен акров ровного пепла...

На последующих 20 страницах дневника Таубер описывает, как заключенные Кайзервальдского концентрационного лагеря боролись за жизнь, сопротивляясь голоду, болезням, каторжному труду и жестокости охраны. Все это время о капитане СС Эдуарде Рошмане ничего не было слышно. Но он был по-прежнему в Риге. Таубер описывает, как в начале октября эсэсовцы, гонимые страхом, что могут попасть в руки русским, готовились к торопливой эвакуации из Риги по морю, в которой их должна была сопровождать горсточка заключенных.

К полудню 11 октября мы, 4000 заключенных, еще сохранявших силы, прибыли в Ригу, и наша колонна была прямоком направлена в порт. Мы слышали издали странные раскаты, словно за горизонтом громычал гром. И наконец, сквозь оцепенение от холода и голода, до нас дошло — это русская артиллерия обстреливает предместья Риги.

Когда мы прибыли в порт, он был переполнен солдатами и офицерами СС. Я никогда не видел, чтобы их было так много в одном месте и в одно время. Должно быть, их было куда больше, чем нас. Нас выстроили в ряды позади одного из складов, и снова большинство из нас решило, что вот здесь нас и прикончат пулеметные очереди. Но для этого еще не пришло время.

Вне всякого сомнения, эсэсовцы еще собирались использовать нас, последних из оставшихся в живых сотен тысяч тех, кто прошел через Ригу, как свое алиби перед лицом надвигающегося русского наступления на пути бегства в рейх. Разнесся слух, что нам придется отправиться в путь с причала номер шесть, куда пришло судно, одно из по-

¹ Весеннее наступление русских 1944 года было столь стремительным, что, ворвавшись в Прибалтику с юга, они дошли до западного побережья Балтики. Этот маневр отрезал от рейха значительную часть Остланда, что вызвало напряжение между Гитлером и его генералами. Чувствуя, чем это кончится, они просили Гитлера отвести из окружения 45 дивизий. Он отказался, с настойчивостью попугая твердя генералам «Смерть или победа!». Тому полумиллиону солдат, которые остались в окружении, он мог предложить только смерть. Отрезанные от источников питания, они сражались до последнего патрона и, окруженные, встретили свою судьбу. В большинстве своем они попали в плен и зимой 1944—1945 гг. были направлены в Россию.

¹ Процедура сжигания тел оставляла нетронутыми кости. Русские позднее обнаружили около 80 000 скелетов.

следних, что еще поддерживало связь с окружением. Мы видели, что погрузка началась с носилок с ранеными, которые лежали в двух больших складах, вытянувшихся вдоль пристани . . .

Было почти темно, когда прибыл капитан Рошман, и он резко остановился, когда увидел, как грузится судно. Когда взгляд его упал на раненых солдат, которых поднимали на судно, он повернулся и рывкнул на санитаров, который нес носилки: «Прекратите!»

Он пересек мол и ударил одного из санитаров по лицу. Повернувшись на каблуках к рядам заключенных, он заорал: «Эй, вы, дерьмо! Поднимайтесь на судно и выкидывайте всех прочих. Это судно наше».

Под дулами эсэсовских автоматов, упертых нам в спину, мы стали подниматься по сходням. Сотни остальных эсэсовцев, которые до сих пор только стояли и наблюдали за погрузкой раненых, рванулись вперед, последовав за заключенными. Поднявшись на судно, мы стали поднимать носилки и сносить их вниз на мол. Мы занимались этим, пока другой окрик не остановил нас.

Я стоял внизу у сходней и уже готовился подниматься наверх, когда услышал крик и повернулся, чтобы посмотреть, что происходит.

Армейский капитан, бегом пересекавший мол, остановился у сходней рядом со мной. Бросив взгляд на спускавшиеся по сходням носилки с ранеными, капитан крикнул: «Кто приказал разгружать судно?»

Рошман подошел к нему и сказал:

— Я приказал. Это наше судно.

Капитан резко повернулся к нему. Рука его нырнула в карман и вытащила оттуда кучу бумаг.

— Это судно предназначено для перевозки раненых, — сказал он. — Для перевозки раненых — вот его цель.

С этими словами он повернулся к санитарам и приказал им продолжать погрузку. Я исхода бросил взгляд на Рошмана. Он трясся от гнева, как мне показалось. Я видел, что он вне себя. Его приводила в ужас мысль, что ему придется столкнуться с русскими лицом к лицу. В отличие от нас, те были вооружены.

Он начал орать на санитаров:

— Отставить! Я конфискую это судно во имя рейха!

Санитары не обращали на него внимания, исполняя приказ капитана вер-

махта. Я стоял в двух метрах от него и видел его лицо. Оно было серым от усталости, с темными кругами под глазами. От крыльев носа шли резкие складки, и было видно, что он не брился несколько недель. Что погрузка началась снова, он прошел мимо Рошмана, чтобы наблюдать за своими санитарам.

Когда он проходил мимо Рошмана, эсэсовский офицер схватил его за руку, развернул к себе и рукой в перчатке ударил армейского капитана по лицу. Тысячи раз я видел, как он бил людей, но такого ответа видеть мне не приходилось. Капитан сжал кулак и ответил Рошману сокрушительным ударом в челюсть. Рошман отлетел на несколько шагов, ничком шлепнулся в снег, и из угла рта у него потекла тонкая струйка крови. Капитан же повернулся к своим санитарам.

Я видел, как Рошман выдернул из кобуры свой офицерский люгер, тщательно прицелился и выстрелил капитану вермахта между лопаток. Когда раздался звук выстрела, все остановились как вкопанные. Капитан дернулся и повернулся, Рошман выстрелил еще раз, и пуля поразила жертву в горло. Он повернулся вокруг своей оси и был мертв прежде, чем тело его коснулось камней мола. Пуля сорвала с его шеи нечто, и когда я, получив приказ поднять тело и сбросить его в воду, подошел к нему, увидел, что это был орденский крест. Я никогда не знал имени капитана, но он носил Рыцарский Крест с дубовыми листьями. . . .

После этого мы получили приказ снести носилки с ранеными солдатами вермахта и оставить их на пристани под падающим снегом. Мне пришлось помогать одному молодому солдату спускаться по сходням на мол. Он ничего не видел, и глаза его были заморозаны грязным лоскутом, оторванным от рубашки. Он был в полубреду и непрерывно звал свою мать. Я предположил, что ему было не больше восемнадцати лет.

Наконец на судне не осталось никого, и нам приказали подниматься на борт. Заключенными набили два трюма, один на корме, а другой на носу, так тесно, что мы еле могли пошевелиться. Наконец люки были задраены, и на борт стали подниматься эсэсовцы. Мы отплыли еще до полуночи, ибо капитан, без сомнения, хотел выйти из Рижского залива до рассвета, чтобы его не могли

засечь и разбомбить русские штурмовики . . .

Путь в Данциг, который был уже за линией фронта, занял три дня. Три дня ниже ватерлинии, в непрерывной качке, без пищи и воды. Умерло не менее четверти из четырех тысяч заключенных. У нас не было пищи, которую могли бы выбрасывать наши желудки, и все давились от морской болезни желчью. Многие умерли от изнеможения, потому что они не могли больше врать, другие от холода или голода; погибали от удушья или просто потому, что не хотели больше жить — они тихо отходили. Наконец судно причалило, люки отдраили, и волна ледяного холода хлынула в спертые провонявшее нутро трюмов.

Когда нас выгнали на пристань Данцига, тела тех, кто скончался во время пути, были выложены в ряд вдоль еще живых, чтобы сошлось общее число тех, кто взшел на борт судна в Риге. СС всегда очень бдительно следило за порядком счета.

Позднее мы узнали, что Рига пала под натиском русских 13 октября, в тот день, когда мы были еще в море . . .

Душераздирающая одиссея Таубера подходила к концу. Из Данцига оставшиеся в живых обитатели рижского гетто были на барже отправлены в концентрационный лагерь Штутгоф.

В январе 1945 года, когда наступающие русские войска приблизились к Данцигу, тех, кто еще оставался в живых в Штутгофе, построив в колонны, направили на запад — это был знаменитый Марш Смерти через зимние снега к Берлину. Через всю восточную Германию тянулись эти колонны привидений, которые должны были стать спасением для эсэсовцев, если бы им удалось попасть в руки западных союзников — поэтому их и гнали на запад. В течение всего пути, в снегу и на морозе, они гибли как мухи.

Таубер пережил даже этот марш, и наконец остатки колонны достигли Магдебурга, к западу от Берлина, где эсэсовцы бросили их на произвол судьбы, обеспокоенные собственным спасением. Группа, в которой находился Таубер, была размещена в городской тюрьме, где они оказались под присмотром беспомощных и испуганных стариков фольксштурма. Лишенные возможности кормить заключенных, испуганные тем, что скажут солдаты Соединенных Наций, если обнаружат их в таком качестве, фольксштурмовцы разрешили тем, у кого еще оставались силы, бродить по окрестностям в поисках пищи.

В тот день мы втроем побрели в Гарделеген, небольшую деревушку рядом

с городом, где удалось набрать несколько картофелин. Меся слякоть своими обмотками, мы брели обратно, когда нас нагнала машина, направляющаяся на запад. Шофер притормозил, чтобы поговорить с возчиком подводу, ехавшей по дороге, и я, оглянувшись, без особого интереса, посмотрел на проезжающую машину. Внутри нее были четверо офицеров СС, без сомнения бежавших на запад. Рядом с водителем в форме армейского капрала был Эдуард Рошман.

Он не узнал меня, потому что голова моя была замотана обрывками старого мешка из-под картошки, единственной защитой от холодного весеннего ветра. Но я-то его видел. Сомнений в этом у меня не было.

Скорее всего, все четверо пассажиров машины незамедлительно сменили свою униформу, едва только машина двинулась на запад. Когда она набрала скорость, на дорогу, вышвырнутая из окна в лужу грязи, упала какая-то одежда. Через несколько минут мы подошли к этому месту и остановились. Это был китель офицера войск СС с серебристыми молниями, с капитанскими погонами. Эсэсовец Рошман исчез . . .

Через двадцать четыре дня мы были свободны. У нас не было сил выйти в мир, и мы предпочитали оставаться голодными в тюрьме, чем скитаться по улицам, где царила необузданная анархия. Утром 27 апреля в городе все стихло. Я вышел во двор тюрьмы, где мне пришлось провести около часа, слушая объяснения дряхлого перепуганного стражника, что и он, и его коллеги не имели ничего общего с Гитлером и, конечно, никоим образом не участвовали в преследовании евреев.

Я слышал, как с внешней стороны запертых ворот подъехала машина, и затем раздался стук. Старик из фольксштурма побежал открывать их. У чело- века, который осторожно вошел внутрь, в руке был револьвер, и он был в форме, которую никогда раньше мне не доводилось видеть.

Скорее всего, это был офицер, потому что его сопровождал солдат с ружьем, в плоской круглой стальной каске. Они вошли и стояли в молчании, оглядывая двор тюрьмы. В одном его углу громоздилась груда трупов, пятьдесят тел тех, кто умер за последние две недели, но ни у кого уже не было сил хоронить их. Остальные, чуть жи-

вые, лежали прислонившись к стенам, стараясь поймать хоть лучик слабого весеннего солнца, их зловонные язвы были покрыты мухами.

Двое посмотрели друг на друга, затем на семидесятилетнего фольксштурмовца. Он озирался, полный смутения. Затем он сказал те несколько слов, которые, скорее всего, выучил во время первой мировой войны:

— Хелло, Томми.

Офицер через плечо посмотрел на него, снова обвел взглядом двор и четко сказал по-английски:

— Ты, проклятый бош, вонючая свинья.

И внезапно зарыдал . . .

Я толком не помню, как добрался до Гамбурга, но мне это удалось. Думаю, я хотел увидеть, осталось ли тут что-нибудь от старой жизни. Ничего не было. Улицы, на которых я родился и рос, исчезли под огненным шквалом бомбежек союзников; контора, в которой я работал, исчезла; исчезла и моя квартира — словом, все.

Англичане поместили меня в госпиталь в Магдебурге, но я уговорил их отпустить меня и, голосуя по дорогам, как-то добрался домой. Но когда я очутился здесь и увидел, что ничего не осталось, я наконец, но слишком поздно, окончательно сломался.

Год я провел в госпитале как пациент рядом с теми, кто прошел то место, что называлось Берген-Бельзен, и еще год санитаром в госпитале, ухаживая за теми, кто был еще хуже, чем я.

Выйдя из госпиталя, я отправился искать пристанище в Гамбурге, где я родился, чтобы провести здесь остаток своих дней . . .

Я жил в маленькой комнатке в Альтоне с 1947 года. Сразу же, как я покинул госпиталь, я начал писать эту историю о том, что было со мной и с другими в Риге.

Но задолго до того, как я кончил эти записки, стало совершенно ясно, что

выжили и другие, обладавшие большей информацией и лучше, чем я, приспособленные, чтобы быть свидетелями. Появились сотни книг, описывающих Катастрофу, и поэтому я никого не мог заинтересовать. Я не мог найти никого, кто бы согласился прочесть эти записки.

Оглядываясь, я вижу, что все это было только потеря времени и энергии, та битва за жизнь, которую я вел, чтобы дать миру это свидетельство, в то время, когда другие смогли сделать это куда лучше. И теперь я жалею, что не пошел на смерть в Риге вместе со своей женой Эстер.

Даже последнее желание увидеть Эдуарда Рошмана, стоящего перед судом, и себя, дающего показания против него, никогда не воплотится в жизнь. И теперь я это знаю.

Иногда я брожу по улицам и вспоминаю старые времена, которые никогда уж больше не вернутся. Дети смеются надо мной и убегают, когда я пытаюсь приласкать их. Однажды я попытался заговорить с маленькой девочкой, которая не убежала при моем приближении, но с криком подбежала ее мать и увела ее. Поэтому много разговаривать мне не приходится.

Когда я еще лежал в английском госпитале, один из врачей спросил меня, почему я не эмигрирую в Израиль, который должен скоро получить независимость. Как я мог объяснить ему все? Я не мог сказать ему, что никогда не попаду на Землю Обетованную после того, что я сделал с Эстер, своей женой. Я часто думал об этом и мечтал, как все могло бы быть, но я не имел права уезжать.

Но если эти строчки будут читать в Израиле, куда я никогда не попаду, могу ли попросить кого-нибудь прочесть надо мной кадиш, зауспокойную молитву? . . .

Перевел с английского
Илан ПОЛОЦК

ВЫСШАЯ ПРАВДА

Редакция предложила мне высказаться о главе романа Фредерика Форсайта, посвященной трагедии рижского гетто, — как бывшему узнику гетто и концлагеря Кайзервальд, как исторнику, занимающемуся историей оккупации. Однако известно, что очевидцы, как правило, являются неважными критиками, ибо верх берут субъективные ощущения и видения, клише памяти. Так и в данном случае: при первом беглом ознакомлении с работой Форсайта мне то и дело мешали неточности фактического порядка. И лишь при повторном прочтении, подавив в себе фактографа и диктат личных воспоминаний, удалось оценить литературные достоинства и согласиться с мнением Аристотеля, считавшего, что «художественное изображение истории научнее и серьезнее точной историографии. Ибо художественная литература изображает основу и суть, в то время как четкое изложение лишь перечисляет частности». Думается, что в данном случае автор считал себя вправе пренебречь точностью факта, добываясь большего — высшей художественной правды. С помощью сочиненного самим Форсайтом «дневника Соломона Таубера» автору удалось воссоздать жуткую атмосферу нацистского лагеря смерти, каким было рижское гетто, — атмосферу кошмара, ощущение нереальности всего происходящего вокруг. Форма дневниковой записи дала возможность проследить за процессом духовного оупения узников, которым массовые убийства уже стали казаться буднями. Крупной авторской удачей мне кажется раскрытие «ухищрений» инстинкта самосохранения, который внушает узнику спасительную мысль о необходимости выжить во что бы то ни стало — и не просто для продолжения физического существования, а во имя «высшей цели»: быть живым свидетелем против фашизма, поведать миру о зверствах, в которые трудно поверить.

К сказанному хотелось бы добавить лишь некоторые сведения чисто справочного характера. По «дневнику Таубера» герой повествования прибывает в Ригу 18 августа 1941 года с транспортом немецких евреев, часть которых расстреливают, другая же часть попадает в рижское гетто. На самом же деле гетто в Риге было создано лишь осенью 1941 г., официально 25 октября 1941 г., а первый транспорт «иностранных» евреев прибывает на станцию Румбула под Ригой не в августе, а 30 ноября 1941 г. — как раз в тот день, когда эзсовцы расстреливают часть женщин, детей и стариков из рижского гетто. Транспорты с евреями из всех оккупированных стран Европы продолжают прибывать один за другим, однако в рижское гетто они попадают только после повторного массового расстрела, 8 декабря 1941 года, когда число узников рижского гетто было сокращено с 30 000 до 4500 человек. Точную цифру привезенных в Латвию и убитых здесь евреев из-за границы назвать нет возможности — сохранилась только часть документов. К началу 1942 г., по немецким данным, привезенных евреев было 19 000, «высший руководитель СС и полковник Остланда» обергруппенфюрер СС Фридрих Еккельн на процессе военных преступников в Риге показал, что, по его подсчетам, в Латвию для уничтожения было привезено от 55 000 до 87 000 евреев из других стран. К

этому весьма неопределенному количеству жертв «рассеянный» палач забыл причислить разрозненные транспорты 1943 года и последний транспорт с еврейскими женщинами из Венгрии, прибывший в Ригу летом 1944 года — накануне вступления Красной Армии на латвийскую землю.

Рижское гетто просуществовало до 2 ноября 1943 года — а не до 1944 года. Напуганный восстанием в варшавском гетто, а также активизацией подпольных организаций сопротивления в гетто Вильнюса, Каунаса и Риги (что, кстати, совершенно выпало из поля зрения Таубера-Форсайта), Гиммлер 21 июня 1943 года издает приказ о ликвидации всех гетто и переводе трудоспособных узников в концентрационные лагеря. Приказ Гиммлера кончается следующим указанием: «Неужных обитателей еврейских гетто следует эвакуировать на Восток». 2 ноября 1943 года, в последний день существования рижского гетто, была проведена «селекция» — несколько тысяч нетрудоспособных действительно куда-то отправили (думают, что в Трельблнку, для умерщвления). С весны 1943 года заключенные, специально привезенные из Заксенхаузена, начинают строить в Межапарке новый концлагерь Зауер, потом — Кайзервальд («Царский лес» — старое дореволюционное название нынешнего Межапарка). Лагерь просуществовал до начала августа 1944 года, когда основная масса узников была отправлена морским путем в лагерь смерти Штутгоф.

По воле автора Таубер становится «капо» — надзирателем. Это не могло случиться, ибо в гетто существовал только институт внутренней «службы порядка», не имевший функций надзора при работах. В рижском гетто парни, записавшиеся в «орднунгсдинст», составляли костяк подпольной организации сопротивления. Организация провалилась при неудачной попытке установить контакты с партизанами, все члены «службы порядка» в октябре 1942 г. были расстреляны. «Капо» действительно были — но в концлагере Кайзервальд, и комплектовались они исключительно из «арийцев», преимущественно из немецких уголовников, заключенных концлагеря.

Некоторые уточнения необходимы также к образу и личности Эдуарда Рошмана. В отличие от Таубера, созданного творческой фантазией писателя, Рошман — лицо реальное и известен в историографии и мемуарной литературе под прозвищем «мясник из Риги» («Schlächter von Riga»). В чинах ходил маленьким — был всего-навсего гауптшарфюрером СС, то есть только оберфельдфебелем. Может быть, потому, что был родом из Австрии, из «приличной семьи», начинающий юрист и, возможно, до призыва на службу в соединении профессиональных убийц (Оперативная группа А полиции безопасности и СД) с эсэсовцами ничего общего не имел. В 1941—1942 гг. Рошман служил в канцелярии IV, второй оперативной команды оперативной группы А. О его деятельности в IV реферате, занимающемся еврейскими вопросами, ничего неизвестно. В конце 1942 года он появился в гетто в качестве нового коменданта, сменив на этом посту страшного изувера, садиста карлика оберштурмфюрера СС (ст. лейтенант) Курта Краузе, ставшего комендантом концлагеря Саласпилс. В первые дни своей власти Рошман лишь только прогуливался по улицам гетто в сопровождении адъютанта, стреляя из пистолета по кошкам и воробьям. Однако вскоре развил большую активность и стал производить обыски. Находя что-либо запрещенное — чаще всего кое-какие продукты, он производил упорное следствие, втягивая из-за ошметка сала в сети расследования все новых людей, обрекая их на смерть. Свою страсть к сырсу Рошман мог полностью удовлетворить весной и летом 1943 года, когда на территории гетто был обнаружен тайник с оружием. Эсэсовцы обычно в таких случаях, долго не думая, хватили первых попавшихся под руку и расстреливали. «Совестливый» Рошман поступал «культурнее» и раскидал по всему гетто и филиалам лагеря широкую сеть расследования, в которую после страшных пыток втягивались все новые и новые десятки жертв. В первые дни своего назначения Рошман только охотился за жертвами, но расстрелы не проводил. Бункер с обреченными все наполнил и вскоре уже не мог вместить всех жертв следственной страсти Рошмана. Думается, что юрист Рошман не мог сразу решиться стать убийцей, однако поручить эту функцию охране значило бы проявить недостойную для «нордического» человека и эсэсовца слабость. И он вскоре решился, «перешагнул Рубикон» и отвез первых семь провинившихся на Старое еврейское кладбище (ныне парк им. Я. Алксниса) и собственноручно застрелил. После этого в Рошмане пробудился дремавший в нем зверь, ненасытный убийца и он стал таким, каким его показал

Форсайт. После ликвидации гетто Рошман стал комендантом филиала концлагеря Кайзервальд, размещенного на территории фабрики «Лента» в Задвинье. Когда и этот лагерь был закрыт, и все узники Кайзервальда отправлены в Германию, Рошмана якобы видели в каких-то лагерях «рейха», но след его вскоре был утерян. Он, как и десятки тысяч других убийц, тайными тропами «ОДЕССА» (или других подобных же организаций — «ХИАГ», «ХИЛЬФСАКТИОН», «СТИЛЛЕ ХИЛЬФЕ») был переправлен в Южную Америку. Сравнительно недавно я случайно прочел в 29-м номере журнала «Вельбюне» за 1985 год, что разыскиваемый военный преступник Эдуард Рошман скончался в Парагвае в 1977 году . . .

Трагедия рижского гетто и концлагеря Кайзервальд широко известна на Западе — в основном из-за того, что через эти лагеря уничтожения прошли десятки тысяч граждан почти всей Западной Европы. Эти места ужасов упоминаются во всех работах крупнейших историков, писавших о нацистском геноциде — у Ойгена Когона, Хейнца Кюнриха, Мартина Бросцата, Хелмута Краусника, Ганса-Хайнриха Вилгелма и др. За пределами нашей отчизны также опубликовано множество воспоминаний на эту же тему — книги Макса Кауфмана, Жаннет Вольф, Гертруды Шнейдер. В мае 1988 года в Западном Берлине вышла книга Оскара Пресса «Убийства евреев в Риге».

Предлагаемая глава из книги Форсайта будет первой самостоятельной публикацией на эту тему в СССР.

Маргерис ВЕСТЕРМАНИС,
историк

Иван БУНИН

Существенным пунктом программы нашего журнала является публикация как свидетельств современников о повседневной истории советского общества от самых ее истоков до сегодняшних событий, так и произведений русской словесности, изданных в эмиграции и недоступных доселе отечественному читателю.

Обе эти линии смыкаются в предлагаемой здесь публикации одесского дневника Ивана Алексеевича Бунина, обнародованного им впервые в 1925 году под названием «Окаянные дни» (отрывки из него напечатаны в недавно вышедшем шестом томе собрания сочинений писателя). Московская часть «Окаянных дней» печатается в других периодических изданиях.

«Даугава» уже обращалась к малоизвестным страницам биографии Бунина, вводя в оборот материалы из зарубежных архивов и публикаций (статья В. К. Бабореко в № 10 за 1980 год). Предоставляя теперь место «Окаянным дням», мы исходим не только из бесспорного положения о том, что сочинения русских писателей (независимо от того, стали ли они нобелевскими лауреатами) должны быть известны русскому читателю во всей полноте, но и из не менее очевидной своевременности оглашения некоторых бунинских записей, горько предугадавших трагедию своей земли. Иные записи могут вызвать резкое неприятие (наивно было бы предположить лишь умиленное поддакивание), но в одном Бунину при любых несогласиях с ним нельзя отказать — в честности. Будем же и мы честны по отношению к его тексту, отвергнув практику ретуши и подчисток. Не нужно только владать в идолопоклонничество, в бездумное подчинение авторитету беллетриста. Нужно отдавать себе отчет в том, что литературные и политические антипатии Бунина характеризуют главным образом его самого. И еще не нужно думать, будто один документ, один взгляд может исчерпать всю драматическую полифонию такого центрального для нашего века события, как русская революция.

«Окаянные дни» печатаются по тексту X тома Собрания сочинений Бунина (издательство «Петрополис», 1935)

ОКАЯННЫЕ ДНИ

ОДЕССА, 1919 г.

12 апреля (старого стиля)

Уже почти три недели со дня нашей гибели.

Очень жалею, что ничего не записывал, нужно было записывать чуть не каждый момент. Но был совершенно не в силах. Чего стоит одна умопомрачительная неожиданность того, что свалилось на нас 21 марта! В полдень 21-го Анята (наша горничная) зовет

меня к телефону. «А откуда звонят?» — «Кажется, из редакции» — то есть из редакции «Нашего Слова», которое мы, прежние сотрудники «Русского Слова», собравшиеся в Одессе, начали выпускать 19 марта в полной уверенности на более или менее мирное существование «до возврата в Москву». беру трубку: «Кто говорит?» — «Валентин Катаев. Спешу сообщить невероятную новость: французы уходят». — «Как, что такое, когда?» — «Сию минуту». —

«Вы с ума сошли?» — «Клянусь вам, что нет. Паническое бегство!» — Выскочил из дому, поймал извозчика и глазам своим не верю: бегут нагруженные ослы, французские и греческие солдаты в походном снаряжении, скачут одноколки со всяким воинским имуществом . . . А в редакции — телеграмма: «Министерство Клемансо пало, в Париже баррикады, революция . . .»

Двенадцать лет тому назад мы с В. приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор! Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город . . . Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье . . .

Перед тем как проснуться нынче утром, видел, что кто-то умирает, умер. Очень часто вижу теперь во сне смерти — умирает кто-нибудь из друзей, близких, родных, особенно часто брат Юлий, о котором страшно даже и подумать: как и чем живет, да и жив ли? Последнее известие о нем было от 6 декабря прошлого года. А письмо из Москвы к В. от 10 августа пришло только сегодня. Впрочем, почта русская кончилась уже давно, еще летом 17 года: с тех самых пор, как у нас впервые, на европейский лад, появился «министр почт и телеграфов». Тогда же появился впервые и «министр труда» — и тогда же вся Россия бросила работать. Да и сатана Каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило иступление, острое умопомешательство. Все орали друг на друга за малейшее противоречие: «Я тебя арестую, сукин сын!» Меня в конце марта 17 года чуть не убил солдат на Арбатской площади — за то, что я позволил себе некоторую «свободу слова», послал к черту газету «Социал-Демократ», которую навязывал мне газетчик. Мерзавец солдат прекрасно понял, что он может сделать со мной все, что угодно, совершенно безнаказанно, — толпа, окружавшая нас, и газетчик сразу же оказались на его стороне: «В самом деле, товарищ, вы что же это брезгуете народной газетой в интересах трудящихся масс? Вы, значит,

контрреволюционер?» — Как они одинаковы, все эти революции! Во время французской революции тоже сразу была создана целая бездна новых административных учреждений, хлынул целый потоп декретов, циркуляров, число комиссаров — непременно почем-то комиссаров, — и вообще всяческих властей стало несметно, комитеты, союзы, партии росли как грибы, и все «пожирали друг друга», образовался совсем новый, особый язык, «сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков издыхающей тирании. . .» Все это повторяется потому прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций — бешеная жажда игры, лицедейства, поэзы, балагана. В чело- веке просыпается обезьяна.

Ах, эти сны про смерти! Какое вообще громадное место занимает смерть в нашем и без того крохотном существовании! А про эти годы и говорить нечего: день и ночь живем в оргии смерти. И все во имя «светлого будущего», которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака. И образовался на земле уже целый легион специалистов, подрядчиков по устройению человеческого благополучия. «А в каком же году наступит оно, это будущее?» — как спрашивает звонарь у Ибсена. Всегда говорят, что вот-вот: «Это будет последний и решительный бой!» — Вечная сказка про красного бычка.

Ночь лил дождь. День серый, прохладный. Деревцо, зазеленевшее у нас во дворе, побледнело. И весна-то какая-то окаянная! Главное — совсем нет чувства весны. Да и на что весна теперь?

Все слухи и слухи. Жизнь в непре- станном ожидании (как и вся прошлая зима здесь, в Одессе, и позапрошлая в Москве, когда все так ждали немцев, спасения от них). И это ожидание чего-то, что вот-вот придет и все разрешит, сплошное и неизменно-напрасное, конечно, не пройдет нам даром, изувечит наши души, если даже мы и выживем. А за всем тем, что было бы, если бы не было даже ожидания, то есть надежды!

«Боже мой, в какой век повелел Ты родиться мне!»

13 апреля

Вчера долго сидел у нас поэт Волошин. Нарывался он с предложением своих услуг («по украшению города к первому мая») ужасно. Я его предупредил: не бегайте к ним, это не только низко, но и глупо, они ведь отлично знают, кто вы были еще вчера. Нес в ответ челуху: «Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник». В украшении чего? Виселицы, да еще и собственной? Все-таки побегал. А на другой день в «Известиях»: «К нам лез Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам...» Теперь Волошин хочет писать «письмо в редакцию», полное благородного негодования. Еще глупее.

Слухи и слухи. Петербург взял финнами, Колчак взял Сызрань, Царицын... Гинденбург идет не то на Одессу, не то на Москву... Все-то мы ждем помощи от кого-нибудь, от чего-нибудь, от чуда, от природы! Вот теперь ходим ежедневно на Николаевский бульвар: не ушел ли, избавь Бог, французский броненосец, который зачем-то маячит на рейде и при котором все-таки как будто легче.

15 апреля

Десять месяцев тому назад ко мне приходил какой-то Шпан, на редкость паршивый и оборванный человек, нечто вроде самого плохонького коммивояжера, и предлагал мне быть моим импресарио, ехать с ним в Николаев, в Харьков, в Херсон, где я буду публично читать свои произведения «каждый вечер за тысячу думскими». Нынче я его встретил на улице: он теперь один из сотоварищей этого сумасшедшего мерзавца профессора Щепкина, комиссар по театральному делу, он выбрит, сыт, — по всему видно, что сыт, — и одет в чудесное английское пальто, толстое и нежное, с широким хлястиком сзади.

Против наших окон стоит босяк с винтовкой на веревке через плечо, — «красный милиционер». И вся улица трепещет его так, как не трепетала бы прежде при виде тысячи самых свирепых городских. Вообще, что же это такое случилось? Пришло человек шестьсот каких-то «григорьевцев», кривоногий мальчишек во главе с кучкой каторжников и жуликов, кои и взяли в полон миллионный, богатейший город! Все помертвели от страха, при-

жукнулись. Где, например, все те, которые так громили месяц тому назад добровольцев?

16 апреля.

Вчера перед вечером гуляли. Тяжесть на душе несказанная. Толпа, наполняющая теперь улицы, невыносима физически, я устал от этой скотской толпы до изнеможения. Если бы отдохнуть, скрыться куда-нибудь, уехать, например, в Австралию! Но уже давно все пути, все дороги заказаны. Теперь даже на Большой Фонтан проехать, и то безумная мечта: и нельзя без разрешения, и убить могут, как собаку.

Встретили Л. И. Гальберштата (бывший сотрудник «Русских Ведомостей», «Русской Мысли»). И этот «перекрасился». Он, вчерашний ярый белогвардеец, плакавший (буквально) при бегстве французов, уже пристроился при газете «Голос Красноармейца». Воровский шептал нам, что он «совершенно раздавлен» новостями из Европы: там будто бы твердо решено — никакого вмешательства во внутренние русские дела... Да, да, это называется «внутренними делами», когда в соседнем доме, среди бела дня, грабят и режут разбойники!

Вечером у нас опять сидел Волошин. Чудовищно! Говорит, что провел весь день с начальником чрезвычайки Северным (Юзэфовичем), у которого «кристальная душа». Так и сказал: кристальная.

Проф. Евгений Щепкин, «комиссар народного просвещения», передал управлению университетом «семи представителям революционного студенчества», таким, говорят, негодьям, каких даже и теперь днем с огнем поискать.

В «Голосе Красноармейца» известие о «глубоком вторжении румын в Советскую Венгрию». Мы все бесконечно рады. Вот тебе и невмешательство во «внутренние» дела! Впрочем, ведь это не Россия.

«Блок слышит Россию и революцию, как ветер...» О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все ничолем.

Часто вспоминаю то негодование, с которым встречали мои будто бы сплошь черные изображения русского народа. Да еще и до сих пор негодуют,

и кто же? Те самые, что вскормлены, вспоены той самой литературой, которая сто лет позорила буквально все классы, то есть «попа», «обывателя», мещанина, чиновника, полицейского, помещика, зажиточного крестьянина, — словом вся и всех, за исключением какого-то «народа», — «безлошадного», конечно, — «молодежи» и босяков.

17 апреля.

«Старый, насквозь сгнивший режим рухнул безвозврата . . . Народ, пламенным, стихийным порывом опрокинул — и навсегда — сгнивший трон Романовых . . .»

Но почему же в таком случае с первых же мартовских дней все сошло с ума на ужасе перед реакцией, реставрацией?

«Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой . . .» Как любил рычать это Горький! А и сон-то весь только в том, чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его карманы и стать стервой еще худшей, чем этот фабрикант.

«Революции не делаются в белых перчатках . . .» Что ж возмущаться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах?

«Утешься ради скорби всего Иерусалима!»

До самого завтрака пролежал в постели с закрытыми глазами.

Читаю книгу о Савиной — ни с того ни с сего, просто потому, что надо же делать что-нибудь, а что именно, теперь совершенно все равно, ибо главное ощущение теперь, что не жизнь. А потом, повторяю, это изнуряющее ожидание: да не может же продолжаться так, да спасет же нас кто-нибудь или что-нибудь — завтра, послезавтра, может даже нынче ночью!

С утра было серо, после полудня дождь, вечером ливень.

Два раза выходил смотреть на их первомайское празднество. Заставил себя, ибо от подобных зрелищ мне буквально всю душу перевертывает. «Я как-то физически чувствую лю-

дей», — записал однажды про себя Толстой. Вот и я тоже. Этого не понимали в Толстом, не понимают и во мне, оттого и удивляются порой моей страстности, «пристрастности». Для большинства даже и до сих пор «народ», «пролетариат» только слова, а для меня это всегда — глаза, рот, звуки голосов, для меня речь на митинге — все естество произносящего ее.

Когда выходил в полдень: накрапывает, возле Соборной площади порядочно народу, но стоят бессмысленно, смотрят на всю эту балаганщину необыкновенно тупо. Были, конечно, процессии с красными и черными знаменами, были какие-то размалеванные «колесницы» в бумажных цветах, лентах и флагах, среди которых стояли и пели, утешали «пролетариат» актеры и актрисы в оперно-народных костюмах, были «живые картины», изображавшие «мощь и красоту рабочего мира», «братски» обнявшихся коммунистов, «грозных» рабочих в кожаных передниках и «мирных пейзаж», — словом, все, что полагается, что инсценировано по приказу из Москвы, от этой гадины Луначарского. Где у некоторых большевиков кончается самое подлое издевательство над чернью, самая гнусная купля ее душ и утроб, и где начинается известная доля искренности, нервической восторженности? Как, например, изломан и восторжен Горький! Бывало на Рождестве на Капри (утрировано окая на нижегородский лад): «Нонче, ребята, айдате на пьязцу: там, дьявол их забери, публика будет необыкновеннейшие штуки выкидывать, — вся, понимаете, пьязца танцует, мальчишки орут, как черти, расшибают под самым носом достопочтеннейших лавочников хлопущки, ходят колесом, дудят в тысячу дудок . . . Будет, понимаете, несколько интереснейших цеховых процессий, будут петь чудеснейшие уличные песни . . .» И на зеленых глазках — слезы.

Перед вечером был на Екатерининской площади. Мрачно, мокро, памятник Екатерины с головы до ног закутан, забинтован грязными, мокрыми тряпками, увит веревками и залеплен красными деревянными звездами. А против памятника чрезвычайка, в мокром асфальте жидкой кровью текут отражения от красных флагов, обвисших от дождя и особенно паскудных.

Вечером почти весь город в темноте: новое издевательство; новый декрет —

не смей зажигать электричества, хотя оно и есть. А керосину, свечей не достанешь нигде, и вот только кое-где видны сквозь ставни убогие, сумрачные огоньки: копят самодельные каганцы. Чье это издевательство? Разумеется, в конце концов, народное, ибо творится в угоду народу. Помню старика рабочего у ворот дома, где прежде были «Одесские Новости», в первый день водворения большевиков. Вдруг выскочила из-под ворот орава мальчишек с кипами только что отпечатанных «Известий» и с криками: «На одесских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов!» — Рабочий захрипел, захлебнулся от ярости и злорадства: «Мало! Мало!» — Конечно, большевики настоящая «рабоче-крестьянская власть». Она «осуществляет заветнейшие чаяния народа». А уж известно, каковы «чаяния» у этого «народа», призываемого теперь управлять миром, ходом всей культуры, права, чести, совести, религии, искусства.

«Без всяких аннексий и контрибуций с Германией!» — «Правильно, верно!» — «Пятьсот миллиардов контрибуции с России!» — «Мало, мало!»

«Левые» все «эксцессы» революции валят на старый режим, черносотенцы — на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого — на соседа и на еврея: «Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жида на все это дело подбили...»

19 апреля.

Пошел, чтобы хоть чем-нибудь себя рассеять, делать съестные запасы. Говорят, что все закроется, ничего не будет. И точно, в лавках, еще не закрывшихся, почти ничего нет, точно провалилось все куда-то. Случайно наткнулся в лавочке на Софийской на круг качкавала. Цена дикая — 28 рублей фунт.

Был А. М. Федоров. Был очень приятен, жаловался на свое бедственное положение. В самом деле, исчез последний ресурс — кто же теперь снимает его дачку? Да и нельзя сдавать, она теперь «народное достояние». Вся жизнь работал, кое-как удалось купить клочок земли на истинно кровные гроши, построить (залезши в долги) домик — и вот оказывается, что домик «народный», что там будут жить вместе с твоей семьей, со всей твоей жизнью

какие-то «трудящиеся». Повеситься можно от ярости!

Весь день упорный слух о взятии румынами Тирасполя, о том, что Макензен уже в Черновицах, и даже «о падении Петрограда». О, как люто все хотят этого! И все, конечно, враки.

Вечером с Н. в синагоге. Так все жутко и гадко вокруг, что таяет в церкви, в эти последние убежища, еще не залитые потопом грязи, зверства. Только слишком много было оперы, хорошо только порою: дико-страстные вопли, рыдания, за которыми целые века скорби, неприютности, восток, древность, скитания — и Единый, перед Коем можно излить душу то в отчаянной, детски-горестной жалобе, за душу хватающей своим криком, то в мрачном, свирепо-грозном, все понижающем реве.

Сейчас все дома темны, в темноте весь город, кроме тех мест, где эти разбойничьи притоны, — там пылают люстры, слышны балалайки, видны стены, увешанные черными знаменами, на которых белые черепа с надписями: «Смерть, смерть буржуйам!»

Пишу при вонючей кухонной лампочке, дожигаю остатки керосину. Как больно, как оскорбительно. Каприйские мои приятели, Луначарские и Горькие, блюстители русской культуры и искусства, приходившие в священный гнев при каждом предостережении какой-нибудь «Новой Жизни» со стороны «царских опричникков», что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием при вонючем каганце, или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щели карниза?

Прав был дворник (Москва, осень 17 года):

— Нет, простите! Наш долг был и есть — довести страну до учредительного собрания!

Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти горячие слова, — мимо него быстро шли и спорили, — горестно покачал головой:

— До чего в самом деле довели, сукины дети!

— Сперва меньшевики, потом грузики, потом большевики и броневики...

Грузовик — каким страшным символом остался он для нас, сколько этого грузовика в наших самых тяжких и ужасных воспоминаниях! С самого первого дня своего связалась революция с этим ревушим и смердящим животным, переполненным сперва истеричками и похабной солдатней из дезертиров, а потом отборными каторжанами.

Вся грубость современной культуры и ее «социального пафоса» воплощена в грузовике.

Говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту, глаза сквозь криво висящее пенске кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет до-нельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджачка — перхоть, салыные жидкие волосы всклокочены . . . И меня уверяют, что эта гадюка одержима буд-то бы «пламенной, беззаветной любовью к человеку», «жаждой красоты, добра и справедливости»!

А его слушали?

Весь день праздно стоящий с подсолнухами в кулаке, весь день механически жрущий эти подсолнухи дезертир. Шинель внакидку, картуз на затылок. Широкий, коротконогий. Спокойно-нахален, жрет и от времени до времени задает вопросы, — не говорит, а все только спрашивает, и ни единому ответу не верит, во всем подзревает брехню. И физически больно от отвращения к нему, к его толстым ляжкам в толстом зимнем хаки, к телячьим ресницам, к молоку от нажеванных подсолнухов на молодых, живоотно-первобытных губах.

«Российская история» Татищева:

«Брат на брата, сыневе против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат брата достояния лишить, не ведуще, яко премудрый глаголет: ища чужого, о своем в оный день възрыдает . . .»

А сколько дурачков убеждено, что в российской истории произошел великий «сдвиг» к чему-то будто бы совершенно новому, доселе небывалому!

Вся беда (и страшная), что никто даже малейшего подлинного понятия о «российской истории» не имел.

20 апреля.

Кинулся к газетам — ничего особенного. «В ровенском направлении — по-

пытка противника . . .» Кто же, наконец, этот противник?

Тон газет все тот же, — высокопарно-площадный жаргон, — все те же угрозы, остервенелое хвастовство, и все так плоско, лживо, так явно, что не веришь ни единому слову и живешь в полной отрезанности от мира, как на каком-то Чертовом острове.

Анюта говорит, что уже два дня не выдают даже и этого ужасного горохового хлеба, от которого все на дворе у нас кричали от колик, и кому же не выдают? — тому самому пролетариату, которого так забавляли позавчера. А на стенах возвания: «Граждане! Все к спорту!» Совершенно невероятно, а истинная правда. Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепа еще спорт?

Был Волошин. Помочь ему удрать в Крым хотят через «морского комиссара и командующего черноморским флотом», Немица, который, кстати сказать, поэт, «особенно хорошо пишущий рондо и триолеты». Выдумывают какую-то тайную «миссию» в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Немица состоит из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь.

Бешенство слухов: Петроград взят генералом Гурко, Колчак под Москвой, немцы вот-вот будут в Одессе . . .

Какая у всех свирепая жажда их гибели! Нет той самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им. Если б в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга.

Лжи столько, что задохнуться можно. Все друзья, все знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел как о лгунах, лгут теперь на каждом шагу. Ни единая душа не может не солгать, не может не прибавить и своей лжи, своего искажения к заведомо лживому слуху. И все это от нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется. Человек бредит, как горячий, и, слушая этот бред, весь день все-таки жадно веришь ему и заражаешься им. Иначе, кажется, не выжил бы и недели. И каждый день это самоодурманивание достигает особой силы к вечеру, — такой силы, что ложишься спать точно эфиром опоенный, почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится, и так неистово, так крепко

крестишься, молишься так напряженно, до боли во всем теле, что кажется, не может не помочь Бог, чудо, силы небесные. Засыпаешь, изнуренный от того невероятного напряжения, с которым просишь об их гибели, и за тысячу верст, в ночь, в темноту, в неизвестность шлешь всю свою душу к родным и близким, свой страх за них, свою любовь к ним, свою муку, да сохранит и спасет их Господь, — и вдруг вскакиваешь среди ночи с бешено заколотившимся сердцем: где-то трах-трах-трах, иногда где-то совсем близко, точно каменный град по крышам, — вот оно, что-то таки случилось, кто-то, может быть, напал на город — и конец, крах этой проклятой жизни! А наутро опять отрезвление, тяжелое похмелье, кинулся к газетам, — нет, ничего не случилось, все тот же наглый и твердый крик, все новые «победы». Светит солнце, идут люди, стоят у лавок очереди... и опять тупость, безнадежность, опять впереди пустой долгий день, да нет, не день, а дни, пустые, долгие, ни на что не нужные! Зачем жить, для чего? Зачем делать что-нибудь? В этом мире, в их мире, в мире поголовного хама и зверя, мне ничего не нужно...

«У нас совсем особая психика, о которой будут потом сто лет писать». Да мне-то какое утешение от этого? Что мне до того времени, когда от нас даже праху не останется? «Этим записям цены не будет». А не все ли равно? Будет жить и через сто лет все такая же человеческая тварь, — теперь-то я уж знаю ей цену!

Ночь. Пишу слегка хмельной. Вечером, с видом заговорщика, пришел А. В. Васьяковский, притворил дверь и шепотом наговорил таких вещей, так настаивал, что все, о чем говорили днем, есть сушая правда, что Петр разволновался до красноты ушей, потом

слазил под лестницу и вытащил две бутылки вина. Я так слаб от нервности, что захмелел от двух бокалов. Понижаю всю чушь этих слухов, — и все-таки верю и пишу дрожащими, холодными руками...

«Ах, мщения, мщения!», — как писал Батюшков после пожара Москвы в 1812 году.

Савина писала летом 15 года мужу с Кавказа: «Ужели Господь попустит, и наши солдатики, наши чудо-богатыри должны будут перенести этот стыд и горе — наше поражение!»

Что это было? Глупость, невежество, происходившее не только от незнания народа, но и от нежелания знать его? Все было. Да была и привычная корысть лжи, за которую так или иначе награждали. «Я верю в русский народ!» За это рукоплескали.

Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратились в своей профессии быть «друзьями народа, молодежи и всего светлого», что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с отрочества жил с ними, был как будто вполне с ними, — и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали:

— Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу?!

В самом деле: то, что называется «честный», красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа... Но ведь это лживость особая, самим человеком почти несознаваемая, привычная жизнь выдуманными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными.

Какое огромное количество таких «лгунов» в моей памяти!

Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа.

Продолжение следует

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ.

В записях Бунина упоминаются: 12 апреля — его жена Вера Николаевна Муромцева-Бунина («В.») (1881—1961), брат Юлий Алексеевич (1857—1951), 13 апреля — Максимилиан Александрович Волошин (1877—1932), 15 апреля — историк Евгений Николаевич Щепкин (1860—1920), 17 апреля — актриса Мария Гавриловна Савина (1854—1915), 19 апреля — многолетний друг Бунина писатель Александр Митрофанович Федоров (1868—1949) и филолог, профессор Владимир Федорович Лазурский («Н.») (1869—1947), 20 апреля — видный советский военачальник Александр Васильевич Немиц (1879—1967).

ОЧАРОВАНИЕ ИСКУССТВА ХИЛЬДЫ ВИКИ

Хильда Вика — одна из наиболее своеобразных личностей в латышском искусстве, где встречаем много женских имен, но, пожалуй, никто из них не может похвастаться столь ярко выраженной женственностью. Ни одна не могла ни в жизни, ни в своем искусстве позволить себе роскошь — до конца быть только самой собой, быть просто женщиной. Герон произведений Хильды Вики (она была не только художницей, она занималась и литературной деятельностью) удивительно похожи на нее. Нередко она пишет автопортреты или использует их в жанровых сценах. Общеизвестно, что так было всегда: в любом портрете каждый художник помимо своей воли пишет самого себя. Человеку, как бы он ни старался быть объективным, свойственно все «пропускать» через себя». Чтобы любить, надо познать. Хильда сознательно держалась этой позиции. Ее интересовала именно женщина со сложным характером, с вечно переполненной мечтами и желаниями душой, с маленькими женскими слабостями. Свой женский идеал Хильда Вика представляла не только в своем искусстве, она старалась держаться его и в жизни. Она любила одеваться подчеркнуто женственно — с кружевами, лентами, носила шляпы с широкими полями, придававшими лицу томную таинственность. Ее мало заботило общественное мнение, она не боялась шокировать своей оригинальностью. Появлялась она как несусветное создание. Современники вспоминают, как Хильда в широком платье мчалась на вело-

сипеде, как развевались на ветру ее шаль и ленты, насколько все это было ошеломляюще красочным и приводящим в восторг.

То же самое мы встречаем в ее искусстве — будто бы обыкновенные сцены из жизни, однако необычайно одухотворенные. Именно этим искусство Хильды Вики вызывает особый интерес в сегодняшних обстоятельствах. Кажется — оно таит в себе многое из утраченного женского достоинства. Ее картины всегда привлекали знатоков искусства: в годы застоя ими любовались тайно, так как предлагаемый художницей мир считался мелким и несущественным. Сегодня, когда нам с большой горечью приходится испытывать следствия бездуховности и бездушия, которые ндут в ногу с уничтожением индивидуальности, мы оцениваем искусство Хильды Вики по-другому и признаем, что оно намного глубже и серьезнее, чем это предполагалось раньше.

Хильда родилась в Риге 5 ноября 1897 года. Наступал «золотой век» искусства и архитектуры. Повседневная жизнь также еще хранила аристократическую утонченность, изысканность стиля, изящество и роскошь. Еще действовали строгие правила морали, существовала ясность и четкие границы между добром и злом. Детские впечатления... В своем искусстве Хильда Вика очень многое черпала из эстетических ценностей прошлой эпохи и старалась передать их через свои картины следующим поколениям. Одна из раскрываемых ею истин — не



Хильда Вика. Любимец матери

бояться стремительного бега времени, не поддаваться спешке. Полюбуйтесь, как медленно и спокойно, как ровно движется время в ее рисунках и акварелях. Художница работала и масляными красками, но предпочитала технику акварели. В 1928 году она особенно увлеклась рисунком. Создала цикл «Жизнь женщины». Некоторые из работ цикла опубликованы в этом номере «Даугавы».

Художественное образование Х. Вика получила в частных студиях. С 1922 по 1925 год она училась у жи-

вописца, реалиста с романтическим уклоном А. Зауэрса. С 1925 по 1927 год она была ученицей темпераментного живописца и декоратора У. Скулме. Ее учителями были также выразительный, конструктивно лаконичный рисовальщик Р. Сута и нежный, чуткий поэт рижских предместий, мастер пастельной живописи В. Ирбе. Это были в высшей степени противоположные друг другу художественные личности. Все же, анализируя работы Х. Вики, чувствуем то, что она хотела приобрести у каждого учителя. Несомненно —

их влияние помогло сформироваться ее особой манере, ее художественному стилю. Иногда чувствуется влияние средневековья и раннего Ренессанса, а также искусства примитива. Очевидно, ее философские взгляды были во многом схожи со взглядами упомянутых времен, ей были близки эстетические идеалы той поры искусства. Все это, естественно, чувствуется в форме ее работ. Так же как «мягкий, приглушенный тон смиренной меланхолии».

Несмотря на строго выдержанный стиль, сюжеты картин Х. Вики весьма разнообразны. Помимо реалистических бытовых сцен, иногда имеющих также символическое толкование, встречаются аллегорические, мифологические сюжеты. Она создавала и романтические, вымышленные картины-грёзы. Особенно привлекают ее работы, представляющие собой по характеру остро выраженный шарж. К таким можно отнести акварели «Большая», где уютная возня вокруг избалованной страдалицы, и «Ранняя гостья». Кто она — гостья, столь стремительно врывающаяся к своей подруге в такую рань? С какими вестями пришла?

Но даже женские слабости Хильда передала с любовью и с каким-то чувством общности. Помимо действующих лиц в картинах Хильды Вики важную роль играют детали. Обратите внимание на крошечный, но прекрасный и многое объясняющий вид из окна в акварели «Большая». Художница много внимания уделяет также убранству интерьеров, частенько перегружает их изобильной драпировкой и разными безделушками. Ах, эти милые безделушки! Не они ли создают чувство уверенности и надежности слабого пола, не они ли успокаивают и создают уют?

Любимой темой художницы является женский утренний туалет. Например, акварель «Ранняя гостья» и рисунок «Утро». Великим таинством женского преобразования восхищались художники все времен. Приводящие себя в порядок женщины напоминают у Хильды Вики райских птиц, расправляющих свои перья. В каждой новой работе нагое тело раскрывает нечто другое, нежели в предыдущей, — то утреннюю свежесть, бодрость, то сладостную, еще полусонную негу.



Хильда Вика. Под каштановым деревом

Заметно, что ее героини имеют весьма пышные формы. Да, именно таким был женский идеал красоты, и художница пользуется этим внешним проявлением женственности. Разве не мягкие, округлые формы лучше всего говорят о незащитности, о слабости, податливости. Именно они излучают тепло и спокойствие. Посмотрите на рисунок «Книжечка»: как трогательно безобидна, как ласкова женщина, какие упоенность и свет струятся из нее. Она словно сияет. Замечательно округлость форм использована также в рисунке «Любимец матери». Круг всегда был символом законченности, служил понятию непрерывности, которую хотела выразить в этой работе Х. Вика. Плавность линий, мягкая модуляция светотени — все подчинено самому главному — чувству единства и глубокой нежности двух созданий. Ради целостности этой мысли художница даже отказалась от излюбленных деталей интерьера, показывая его условно.

Для выражения внутреннего мира своих героев и личных переживаний, для создания «настроения» в картинах Хильда Вика использовала воздух.

Обратите внимание, каким спокойствием дышат небо, деревья и земля в рисунке «Под каштановым деревом». Художница часто обозначала легкое дуновение ветерка, лениво играющего драпировкой, развевающимся платьем, лентами, шлейфами. Вспоминая трудные, трагические мгновения, Хильда Вика изображает сильный, порывистый ветер, который иногда перерастает в безжалостный шторм, передавая волнение, боль, страх, вечную необходимость преодолеть, выстоять.

Хильда Вика раскрывает женский мир образно и весьма полно. Она смеется, плачет и восторгается. С каким-то усердным упорством отстаивает в своем творчестве право женщины на женственность. Говорят, что, сотворив Еву лишь из одного ребра Адама, Бог создал неполноценное существо, которое должно стремиться подражать мужчине. Но может быть и наоборот — так мало райской глины понадобилось именно потому, что больше было дано душе? Чарующей, необъятной, непонятной женской душе! Не об этом ли заставляют задуматься работы Хильды Вики?

КОНФЕРЕНЦИЯ КАК КОНФЕРЕНЦИЯ

Как один из организаторов того, о чем речь пойдет ниже, я хотела бы для начала дать слово тем, ради кого оно делалось, убив таким образом двух зайцев и продемонстрировав взгляд снаружи — критика и изнутри — поэта.

ЛЕОНИД ПОПОВ — театральный критик:

Ленинградское отделение Советского фонда культуры. Центр гуманитарных исследований Фонда молодежной инициативы. Ленинградский областной комитет ВЛКСМ. Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова. Всесоюзная научно-практическая конференция «Молодая культура».

Ладно. Читаем программу. Названия докладов (есть необходимость если не перечислить, то хотя бы привести наиболее звучные). Например. «Видео как новая форма художественного мышления» (видеопрактик В. Драпкин), «Новые новые и старые новые» (изо-практик Т. Новиков), «Театр как универсальный медиатор» (сюжет четвертого дня конференции), «Прагматическая поэтика и модальная семантика» (В. Руднев).

В чем кайф? (разрядка моя. — О.Х.)

В том, что параллели пересеклись¹. Мы вышли в неевклидово пространство. Седые бородатые солидные дяди² — научные работники ЛГИТМиКа решили проникнуть (проникнуть) в ранее недосыгаемые области, куда еще не ступала нога человека. (Ср.: «Индийские йоги, кто они?», «Моя жизнь среди индейцев».) Впервые к живописцам и поэтам из «подполья» подходят с сантиметром, которым измерялись параметры Львов Николаевичей³ и Ильёв Ефимовичей⁴. Делаются попытки покаяться в непринадлежности к подполью.

С другой стороны: Тимур Новиков⁵ надевает галстук и идет читать доклад. Митя Волчек⁶ надевает галстук и идет

¹ (Все сноски мои — О.Х.) — имеется в виду пересечение т. н. «параллельного» искусства («новой»; «молодой» культуры) с «академическим» искусствознанием.

² Конференцию организовывал Совет молодых ученых ЛГИТМиК. Где Л. Попов нашел «седых бородатых», мне как организатору неизвестно.

³ Л. Н. Толстой.

⁴ И. Е. Репин.

⁵ Т. Новиков — художник группы «Новые», теоретик перекомпозиции.

⁶ Д. Волчек — поэт, издатель независимого «Митинского журнала».

читать доклад. Дальше докладчик может молотъ любую чушь: его неделя! Лучшие бороды института выслушают со вниманием, не разобравшись, бред это или нечто гениальное, ибо не знают, чем они отличаются, и боятся попасть впросак. Вива, Лобачевский!

Зеленый зал старинного особняка¹ с видом на Исаакий вмещает поэзии Владимира Друка и Татьяны Щербини. В зале дома на Галерной², где некогда раздавал пощечины обществу вкусу Мейерхольд, с видеоэкрана объясняет принципы видеореальности В. Драпкин. На высокой сцене огромного зала с шикарными красными креслами в Доме культуры пожарных (?!) валяют дурака пять персонажей³ без всякого автора, автоматически перенесенные туда из буквального подполья, что ниже уровня Фонтанки⁴.

Все слова — синонимы⁵. Все линии — параллельны. Это — постулат неевклидова пространства. Антагонистов нет, ибо все едино. Конфликт Коротича и Проскурина дутый. Критерий гуманности и разума не всеобъемлющ, не уникален, это — ось абсцисс. Возьмем ось ординат. Критерии — иные. Ву компроне? Возшли иные имена, грядут лихие времена. Тысячелетие христианского гуманизма заканчивается к двухтысячному году⁶. Сдадим всемирное столпотворение досрочно!

Пример: «Митин журнал» обозревает сентябрьские номера журналов «Новый мир», «Часы», «Континент». Теза: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда». Антитеза: «Митя, ты нам глаза открыл!» Митя: «Я вас не понял. Я обозреваю сентябрьские номера журналов «Новый мир», «Часы» и «Континент». Восторженные девушки

приобщаются к неслыханному ими образу мыслей. Грустные молодые люди чувствуют себя далеко не молодыми. Не параллельное, спроецированное на другую координатную ось, всё целиком обратилось в одну-единственную математическую точку. Понятие без величины.

Создали себе смертный приговор, прочитали и восхитились — как здорово написано! Тем более, что написано действительно здорово.

Видео — это новый вид искусства, еще не ставший видом искусства.

Рок-музыка — это новый вид искусства, уже переставший быть новым видом искусства.

Театр — это не новый вид искусства.

Борис Юхананов — это новый вид искусства, который.

Борис Юхананов — это имидж черного лиса до конца этого года, это Театр Театр мистериального жизнетворчества, это два выступления на конференции, внесценический персонаж «Песен западных славян» и взорванное изнутри телекафе «Авансцена». Он говорит на языке, понятном только ему⁷. Этот язык нельзя воспринять словесно. Он говорит: «Тема». А ему говорят: «Тема». Он говорит: «Задача». А ему говорят: «Задача». И это не одно и то же. Потому что все слова — синонимы, но не все синонимы — слова. «Что нас губит? Многословие нас губит», я полагаю» (М. Трофименков). Михаил Трофименков — гвоздь программы № 2. Доклад, первоначально обозначенный «Мейл-арт», превратился в сообщение «Терминология и истина». Допустим, было сказано в нем, что наш отрезок времени через несколько единиц лет будет называться: малоисследованная эпоха XVI|||—XXI веков первой эры. Вот так вот. Если с этой точки зрения. Потому что все параллельные линии пересекаются на горизонте. А горизонт, как известно, — это новый вид искусства, который.

ТАТЬЯНА ЩЕРБИНА — поэт:

В качестве впечатлений о прошедшей конференции я хочу предложить свои впечатления обудущем. В ч е м к а й ф

¹ Зал Научно-исследовательского отдела ЛГИТМиК, находящийся в особняке графа А. Зубова.

² Ныне — ул. Красная, ДК «Маяк».

³ Пять участников импровизационного действия «Песни западных славян. Vita puo-va».

⁴ Ниже уровня реки Фонтанки находится репетиционный зал Ленинградского филиала Всероссийского объединения «творческие мастерские», которому принадлежат «Песни западных славян».

⁵ Фраза принадлежит московскому критику А. А. Смирновой.

⁶ Во время одной из дискуссий была высказана мысль, что мы находимся в финале христианской цивилизации и преддверии новой.

⁷ Ежемесячная передача ленинградского ТВ.

⁸ Мне, А. Левкину, Т. Щербине, Е. Чорбе и т. д. — тоже.

(разрядка моя. — **О.Х.**) слетов, фестивалей, конкурсов, олимпиад, чемпионатов, конференций, конгрессов, съездов, совещаний и прочих тусовок? В том, что в жизни их участников, зрителей, пресс-агентов и их клиентов происходит событие с бытием и непредсказуемыми, но в любом случае жизнетворными последствиями.

Встретиться с теми, с кем ты и так нередко видишься, в Ленинграде, Москве или Риге в назначенный день — это хуже, чем день рождения, потому что нет именинника и не дарят подарков, и не кормят даже¹. А если это не событие для самих участников — для остальных тем более. Другое дело, когда полгода двое мужчин сидят неподвижно за столом, а весь мир на них смотрит не отвываясь. Потому что Карпов и Каспаров переживают и транслируют другим какую-то невероятно драматическую историю, втягивая даже тех, кто ничего не понимает в шахматах. Премии, призы, аукционы, каталоги, издания, фильмы, встречи коллег, не имеющих возможности встретиться, ознакомиться с творчеством друг друга иначе, как на данном высоком собрании, приглашения продюсеров — что-нибудь из этого должно быть на форумах хоть молодой, хоть старой культуры, параллельной или перпендикулярной.

Первый фестиваль независимого искусства происходил в Москве осенью 1986 г. Наряды милиции, страсти в зале и на сцене, некоторых с нее просто сгоняли, — произошло знакомство, оценка, выбор, торжество и крушение жанров: авангард тогда всех победил. Потом были фестивали еще и еще, но пафос угас. Турниры в Васюках хороши, когда есть Остап Бендер, то есть в авантюрной ситуации. Теперь нужна продуманная драматургия.

— Да, так вот взгляд организатора — из между. Хулить дело, к которому причастен, — странно, хвалить — тем более. Значит, голые, неприодетые факты: они собрались. То есть участники конференции — 36 душ искусствоведов, поэтов, писателей, режиссеров. Радения длились шесть дней, заполняя с утра до полудня стоместный Зеленый зал зубовского особняка докладами и слушателями оных. Вечером

особо стойкие продолжали радеть на поэтическом вечере, видеопросмотре, показе «параллельного кино», спектакле и телесъемке.

Возникла драматургия. Наиболее эмоциональные всплески: Борис Юхананов — доклад о видео — вспышки фотоаппаратов, фиксирующих каждый жест (публика терялась, за чем следить: льющей речью или фотоакцией); Борис Юхананов — доклад о Театре Театре — видеоакция вместе с Евгением Чорбой — «Быть или не быть» на староанглийском (публика терялась, как относиться: это театр или видеосъемка, она — публика — участник или зритель?). Наиболее концептуальные всплески: Павел Герасименков — эссе о феномене советской культуры, Михаил Трофименков — доклад «Терминология и истина» — бурная полемика в зале о «новой критике», закате христианской цивилизации, возможностях возникновения единой веры, о временах наступления новой эры. Наиболее интеллектуальные всплески: Андрей Левкин — доклад «Абстрактная проза», Вадим Руднев — «Прагматическая поэтика и модальная семантика» — возмущение искусствоведов-шестидесятников узкой технологичностью проблематики и отсутствием социальных проблем, умиление и восторг теоретиков всех направлений. Наиболее поразжающей эпизод: Лариса Березовчук — доклад «Рок-музыка как интерпретационная деятельность» — существование в «двух интеллектуальных контекстах» при анализе рока безоговорочно убеждает как «носителей», так и представителей академического музыкального знания.

Выводы: страсти, еще недавно разгоравшиеся из-за факта обнаружения «нового искусства», сегодня переключались в сугубо искусствоведческую среду. Полемика вокруг подходов, оценок, способов анализа артефактов. Сами произведения остаются несколько в стороне. Время методологий — полигон критики. Причины: завершенность начального этапа существования «молодой культуры»; блоки, стереотипы, наиболее устойчивые знаки современного как бы художественного языка советского искусства всех видов отрефлексированы, выведены из автоматизма, вдвинуты в непривычный контекст, скрещены с другими традициями (мировой культуры — кому что нравится), то есть прожиты и не довлеют. Не-

¹ Ну и не покормили, ну и что?

обходимость метаописания сделанного и прогнозирования у всех — практиков, критиков, теоретиков. Предполагаемый путь — универсализм на всех понятийных уровнях — от практического жизнестроительства до теоретического жизнестроительства.

Мнение сторонних наблюдателей: «молодая культура» сложилась и существует как художественная среда (исторические параллели по принципу уподобления: немецкие романтики, русские символисты) в особом размеченном пространстве, возникающем ощутимо, как только собирается больше одного представителя «новых», и незримо воздействующем при внешней разомкнутости контактов. В ментально-текстуальном слое она-оно организуется едиными темами, но не общими, как то: русская идея, национальное самосознание или демократизация, перестройка, — а лейтмотивными: Рождество, звезда Вифлеема, Москва, Ленинград, Гамлет, сумасшедший принц, номинативный хаос, индивидуальный космос. Способ существования в среде — драйв. Отличительная черта об-

щения «младокulturников» между собой — ласковость и нежность, с другими — предупредительная вежливость и внимание. Ни с одним из существующих течений, группировок, объединений зона «новых» практически не пересекается, являясь замкнуто-безразличной к попыткам агрессивного воздействия и весело-открытой для изучения и внедрения.

Перемещения внутри среды: рок-музыка в ее социально-игровом варианте оказалась вне; доминанта поэзии перешла в тональный /тотальный интерес к прозе и видео; критика, как всегда, на высоте, поскольку меняет состав крови, усвоив новое произведение, и активно внедряется в практику создания того, что сама анализирует.

Слухи: — Говорят, у вас на конференции изъясняются птичьим языком. — Э?

— Вместо — я пошел погулять — моя физическая субстанция модифицировала модуль экзистенции.

Не знаю. Конференция как конференция.

ЗАМЕТКИ О НОВОМ ИСКУССТВЕ

Конференция «Молодая культура» (октябрь 1988) была третьим мероприятием этого года, посвященным проблемам современного искусства и имеющим беспрецедентное общесоюзное значение. Первое из них проходило в МГУ и называлось «Новые языки в искусстве», второе — «Артконтакт» (Рига, июнь 1988).

В определенном смысле можно уже подводить итоги.

Если рижская встреча носила в основном чисто практический характер, а московская — чисто теоретический, то в Ленинграде была предпринята попытка синтеза. Каждый день начинался докладами и заканчивался выступлениями поэтов, фильмами или спектаклями. Каждый день был строго профилирован — первый был посвящен литературе, второй — серьезной музыке, третий — кино, четвертый — театру, пятый — рок-музыке, шестой — неформальной журналистике. Это четкое деление было несомненным достоинством ленинградской конференции. В Москве в этом смысле царил эклектизм, так как в один и тот же день выступали музыковеды и семиотики, искусствоведы, художники и критики, принадлежащие различным направлениям и различным стилям мышления. Эклектизм — не обвинение; несмотря на амбициозность, порожденную различием установок, он позволил слушателям увидеть, что представляет собой советская авангардная культура. Участие в конференции академических ученых (которых почти не было в Ленинграде) — В. П. Григорьева, В. В. Иванова, М. Б. Мейлаха, М. И. Шапира — обеспечило ей в целом довольно высокий профессиональный уровень.

Ленинградская встреча во многом была форумом единомышленников. И в этом заключалась как сила, так и слабость конференции. Первая особенность ее атмосферы — это келейность и взаимное умиление, вероятно, не без влияния поэтики митьков, о которых будет сказано ниже. «Какие же мы все новые и как же должно быть худо тем, кто по собственной серости не является таковым!» Эта формула царила на каждом заседании, и присутствовавшие там же представители официальной культуры поневоле заняли примирительно-заискивающую позицию: «Ведь и мы уж не такие отсталые, ведь не такие уж, а?»

Все это забавно и в значительной степени характерно для общественно-политической ситуации осени 1988 года. Но это приводило к априорному некритическому отношению участников конференции по отношению друг к другу, а заодно и к новому искусству.

Если говорить о литературном и кинематографическом днях, на которых присутствовал автор этих строк, то обстановку, господствующую на них, можно описать прежде всего словом непрофессионализм. (Это опять-таки не обвинение, а лишь констатация некоторого положения вещей.) Многое из того, что говорилось в докладах Дмитрия Волчека (редактора «одноименного» «Митинога журнала»; не путать с митьками!), о новой литературе, Татьяны Щербины о театре как литературе и литературе как театре, Ольги Хрусталевой о митьках, Андрея Левкина о четырех типах прозы, — можно было бы вынести за скобки, если бы авторы этих очень интересных докладов были бы в большей сте-



Спектакль «Глюки». Московский театр импровизаций. Режиссер Олег Киселев

пени знакомы с основополагающей литературой по семиотике театра, поэтике, лингвистике связного текста и т. п.

Что касается доклада такого ученого представителя современного искусства, как Аркадий Драгомощенко, то от него, напротив, оставалось впечатление неадекватности усложненного философского языка предмету доклада (например, спорам о советской критике). Очень интересным и по-своему информативным был доклад Евгения Чорбы о видеокино. Но опять-таки создавалось впечатление, что суперсложными терминами говорится о довольно простых вещах. А именно: о том, что у видеокино более прямой контакт между камерой и актером, непосредственный целый штатом операторов, редакторов, осветителей и их помощников, что здесь редуцируется сюжет и актуализируется поэтика примитива, и, наконец, что обнаруживается стремление к снятию противопоставления между «нгрвовым» и «документальным» жанрами. (Я, правда, не

видел работ Юхананова и могу судить только по фильмам братьев Алейниковых.)

На мой взгляд, наиболее адекватным своему материалу был доклад Бориса Астаннна о «Поэтической функции» — неформальной организации литераторов Ленинграда. Этот доклад был в полном смысле слова акцией: в нем шла речь о ненаписанном докладе, который мог бы выглядеть примерно таким-то образом, если бы докладчик был в состоянии его прочесть, если бы он был написан, и т. д. В результате самой формой своего краткого и изысканного выступления Б. Астанн показал эфемерность, виртуальность самого феномена нового искусства в СССР (и вообще «нового искусства»), и, что самое главное, язык этого выступления (говорение в сослагательном наклонении, рисование ненарисованных схем на воображаемой доске) был в принципе адекватен языку искусства и культуры, о которых в нем говорилось. Здесь «немо» прозвучали философские аспекты «семантики возможных миров» и

теория «компактного эмоционального воздействия» и многое другое.

То же можно сказать и о поэтическом вечере. Когда А. Драгомощенко брал у Владимира Друка, московского поэта, интервью, то это выглядело довольно искусственно, когда же они оба читали одновременно стереопоэму Вл. Друка «Телецентр», то это несомненно было фактом самого высокого искусства, подлинно современного и в каком-то особом смысле — советского, то есть выросшего на почве советской действительности и давшего на этой почве весьма любопытные плоды.

Здесь, как мне кажется, я подхожу к ключевому моменту в новом искусстве Москвы и Ленинграда. Когда оно опирается на живую языковую почву, тогда оно становится живым, когда же его источником является переводная словесность, то оно почти гарантированно превращается в нечто мертворожденное. В этом смысле мне представляется неперспективным направление так называемого «метаметафоризма» (А. Парщиков, А. Еременко и другие), так как у него нет непосредственных национальных предпосылок, ведь традиция инновационно ориентированной русской поэзии жестко пресеклась после обериутов, и, напротив, очень живым мне представляется направление концептуализма (в первую очередь, Д. Пригов) и его ответвления. Концептами здесь называются устоявшиеся, клишированные, так сказать, долго бывшие в употреблении высказывания, например лозунги: «У нас не курят», «Вся власть Советам», «Народ и партия едины». Манипулируя этими концептами, повторяя их бесконечное количество раз, это направление создает живую поэтическую стихию, построенную на отжившей стихии языка. В этом смысле концептуалисты могут быть названы советскими поэтами, так как они в качестве материала используют советскую речевую практику.

То же касается митьков, группы ленинградских художников, создавших вокруг себя живое и неповторимое семантическое пространство, построенное на преувеличенно ритуальном поведении, преувеличенные объятия — отсылка к брежневской действительности, вспомним недавнюю публикацию в «Огоньке»: Брежнев обнимается с Алиевым (ср. «Зияющие высоты» А. А. Зиновьева, где этот ритуал наз-

ван очень выразительно — «ибанским поцелуем»). Движение митьков глубоко национальное, от читат из советских фильмов до типично русской обломовщины, культивируемой ими (о митьках и произведении самих митьков см. «Родник», 1988, № 8, 9). Движение митьков как русской разновидности хиппи, по моему мнению, должно стать объектом самого пристального внимания этнологов, семиотиков, историков культуры. Оно должно быть соотнесено с исторически предшествующими ему течениями в русском общественном движении: от «Арзамаса» и «Беседы» славянофилов и западников до народников, толстовцев и даже в определенной степени символистов.

Я хочу также обратить внимание читателя еще на одно чрезвычайно интересное явление в современной «новой» культуре. Речь пойдет о театре импровизации Олега Киселева, который был на гастролях в Риге в конце октября 1988 года со спектаклями «Каникулы Пизанской башни» и «Глюки». Режиссура Киселева построена на особой технике пантомимы, связанной с тысячелетней традицией, восходящей к практике даосских монахов (так называемая «тай дзи тю ань»). В основе техники — открытое плавное движение, когда одно переходит в другое. После классического советского театра с монологами «в сторону» и «кушать подано» театр импровизации воспринимается как совершенно очищенное театральное действо, живое по своей сути. Постараюсь кое-что рассказать о спектакле «Глюки», где режиссура О. Киселева сплавлена с поэзией Вл. Друка. В центре сюжета поэт и его демон-домовой. Их-то, по видимому, и назвали авторы непонятным словом «глюки» (фамилия немецкого композитора здесь стала основой для метонимической замены, имеются в виду художники-чудаки не совсем в своем уме и не вполне от мира сего). Оба персонажа живут в одном пространстве, но при этом не замечают друг друга: когда домовый готовит в шляпе бутафорское яичко в смятку, то поэт начинает есть вместо него, но завтрак незаметно уходит у него из-под рук. Поэт преувеличенно статный и по типу японо-монголоидный (по ходу действия он сочиняет величественную оду Куликовской битве) (реальный автор Д. Пригов) упраж-

няется в каратэ (пресловутый кирпич фигурирует в качестве одного из персонажей). Домовой, напротив, маленький и вертлявый, с лицом, вымазанным сажей, — по общему мнению, вылитый Пушкин. Каждое движение актеров не заканчивается, не фиксируется на одном целесообразном действии и моментально переходит в другое, нецелесообразное, поэтому воспринимается предельно многозначно, то есть информативно. На заключительном спектакле (контакт-шоу со зрителями) О. Киселев на примере спонтанного сотрудничества между актерами и группой зрителей, вышедших на сцену, показал, что искусство импровизации доставляет удовольствие не только зрителю, но и актеру, служа своеобразной культурной психотерапией, расковывающей тело и эмоции человека, что возвращает слову «катарсис», исходному понятию аристотелевской теории драмы, его исходный смысл, то есть очищение.

Особую роль в спектакле играют стихи Вл. Друка, которые дают всему происходящему на сцене актуальный советский (именно не злободневный, а актуально-национальный) колорит. Стихи построены на лексике и идиоматике русско-иностранных разговорников, телефонных справочников, советских аббревиатур, казенных штампов профессиональной лексики, а также идеологической демагогии 1970-х годов. Привожу с согласия автора здесь одно стихотворение:

Заявление

Объявляю Марусю
Безъядерной зоной
Объявляю ее
эrogenною зоной!
Объявляю себя
сверхдержавой!



Спектакль «Глюки»

Объявляю на этом
собрание
Закрытым!

Заканчивая разговор о современном искусстве, считаю своим долгом заметить, что для того, чтобы это искусство могло найти наконец благодарных читателей и зрителей у себя на родине, а не только в Нью-Йорке и Париже, нужно, прежде всего, чтобы стихи были опубликованы, а спектакли шли в нужном количестве, а картины выставлялись. В этом плане чрезвычайно важную работу продельывает журнал «Родник», который начиная с 1988 года публикует антологию современной поэзии и прозы. Но этого, конечно, мало. До тех пор, пока новое искусство не получит возможность беспрепятственного выхода в печать, литературный процесс не станет нормальным и по-прежнему Л. И. Брежнев будет оставаться почетным членом Союза советских писателей.

СВЯТОЙ, КОТОРЫЙ ЛЕТАЕТ САМ ПО СЕБЕ

Давайте сыграем вот во что: в качестве необходимой для любой игры условности примем, что возможно понять основной механизм работы другого человека (его как бы сокровенное: двадцать первый этаж дома в двадцать этажей: лифтовые лебедки, вентиляция, крыша), и попробуем узнать, кто же был такой А. де Сент-Экзюпери.

И сразу так: устраним («Экзюпери» пахмутовской песенки, отправим в мусоропровод «маленького принца» за рубль тридцать пять (слоник-брелок-безделушка для болтаться перед ветровым стеклом: из пластмассы с желтенькими химическими волосами, продается в киосках «Союзпечати» и табачных ларьках).

Не будем опознавать человека, переноса на него свойства среды, в которой он действует. Не будем акцентировать внимание на его боевых вылетах и на беспорочной доставке почты через океан. Не пустим в рассмотрение хэмингуэвщину мужественного поведения — что (мужественность), конечно, хорошо, но конструктивно весьма в узком промежутке определенного рода отношений. Забудем этот гибрид: «летчикописатель», вызывающий в воображении картинку, как С.-Э. несется над Атлантикой и, притулив рукопись на штурвале, играя желваками, пишет «Планету людей», двумя другими руками придерживаясь правильного курса.

Более того: нет никаких других его книг — кроме этой. То есть очистим

Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей, Маленький принц. — Рига: Авотс, 1988.

пространство: эта книга, мы и — выванный посредством заклинания чтением — автор.

Будем рассматривать текст не как урок нам, но как точку зрения, а уж все остальное — окажется ее необходимыми атрибутами.

Жанр прозы Экзюпери лето, пахнет каким-нибудь тяжелым смазочным маслом и — снизу — выжженной, в проплешинах, травой. Ну, еще бензином и кожей: башмаков, ремней, обшивки кресла, шлемофона, тела. Соразмерный одному человеку самолет. Соразмерная человеку высота полета. Вот — точка зрения. Она (полет = летающая точка зрения) образовалась у него автоматически, по той роли, которую он избрал. Пойдем прежде всего отсутствие какого-либо простодушия автора: никакой он, конечно, не литературный дилетант, а профессионал — летчик. Напишите столько, сколько написал он, и хотя бы на его уровне, — посмотрим, каким вы остаетесь дилетантом.

Его точку зрения, кстати, нам почувствовать — невозможно. Все эти самолеты, схожие с домашними животными в своей неприхотливости и капризах, героизм — привычный тогда, как и риск — доставки спешной почты... его человеческий опыт недоступен нам во всех важностях мельчайших ощущений, а значит, в провалах между словами может скрываться нечто совершенно нам постороннее.

Все особенности прозы С.-Э. обуславливаются высотой его полета: разбросаны в полях огоньки и каждому нужна пища. Мы — читая С.-Э. — на границе между абстракцией и учетом

необходимости пищи. «Странный то был урок географии! — Гийоме не приподносил мне сведений об Испании, он дарил мне ее дружбу. Он не говорил о водных бассейнах, о численности населения и поголовье скота. Он говорил не о Гудансе, но о трех апельсиновых деревьях, что растут на краю поля неподалеку от Гуданса. «Берегись, отметь их на карте...», и с того часа три дерева занимали на моей карте больше места, чем Сьерра-Невада...» — этот масштаб изображения определит всю прозу С.-Э.

Я решил написать этот текст, едва увидел книгу на прилавке, почему? С.-Э. — не мой человек, но что-то меня все же цепляло. Вот ведь, казалось бы, проза вполне бесхитростная — никаких сложностей изложения, работы с языком, никаких особенных неожиданностей: общая мягкость, аморфность текста, все старательно сглажено, пропущено через рефлексию — он просто читает нам проповедь, тоже — вполне бесхитростную, с привычными («важностями» и общими местами. Да боже ж ты мой — он ведь сразу же передает читателю свою точку зрения, а любой серьезный прозаик непременно поиграл бы с читателем, прежде чем это сделать. И даже трудно избавиться от мысли, что автор и в самом деле высокоталантливый графоман, излагающий миру историю своей жизни.

Но вот — а своей ли? Нету в текстах А. де Сент-Экзюпери, гражданина Французской Республики, а есть некий персонаж с тем же именем, используя который настоящий С.-Э. и пишет свои тексты. А это — примета очень серьезной прозы. Современной, высокоорганизованной. И ни в коем случае не наивной. (По поводу наивной: подумайте, разве не стал бы в такой прозе процесс летания красивенькой аллегорией — очередной — полета духа? А здесь — аналогия с умением различать. Взгляд сверху дается для того, чтобы различать.) С.-Э. играет в летчика (обратите внимание: нигде в текстах нет упоминания о писательстве тамошнего С.-Э.) — играет хорошо, но иной раз слишком уж вживаясь в роль, так что возникает отчаянная неуверенность его положения, нечто столь же неуверенное, как танцующий сапоги Лев Толстой. Тем не менее... самолеты устроены так, что всякий их узел функционально используется неоднократно (крылья — баки для горючего и т. д.). С.-Э. это, понятно, знал и из своего

летательства извлекал все, что возможно: все процессы и профессии схожи. Что заставляло его столь дотошно описывать все его взаимоотношения с полетом и машиной? А вот именно это — не аллегоричность заставленных соответствий, а вполне реальный изоморфизм любых отношений человека и его дела. «Так требования ремесла преобразуют и обогащают мир», «Да, конечно, самолет — машина, но какое оружие познания!» — примерно так.

Это проза изощренная и требующая к тому же изрядной личной силы и хорошей техники: устроить жизнеспособное подобие себя из лишь одной своей ипостаси (в состав личности С.-Э., летающего в текстах, не входит писательский опыт С.-Э. реального) это, знаете ли, весьма... Работать в такой прозе надо очень точно, зато и выигрешь осязаемый. Можно, если есть к тому склонность, — а у С.-Э. она была, очевидно, определяющей, — излагать свой вариант космогонии. Трудно создать среду, в которой прямые высказывания не коржили бы текст, он этого добился. «Итак, по изобретению, доведенному до совершенства, не видно, как оно создавалось». Что же, он довел свою систему прозы до совершенства и создал среду, в которой не корбит даже прямая речь, замешанная на патетике: «Один лишь Дух, коснувшись глины, творит из нее Человека». Чувствуете, как выпадает фраза из моего текста? А у него — очень даже держится.

Система, разумеется, выбрана не наобум. Есть некая первопричина, заставившая С.-Э. избрать и его летчицкое поприще, и строй его произведений. (Именно в силу наличия этой первопричины нам не мешает незнание нюансов ощущений человека в одиночку над Атлантикой — он-то пишет не об этом.) Сформулировать ее, описать эту материю очень трудно. Есть, скажем, некое ощущение, возникающее при чтении некоторых писателей... С.-Э. или, например, Чапека (великолепного прозаика, тоже, казалось бы, работавшего просто, тоже превратившего себя в персонаж своих книг). Чапек, в сравнении, играл куда более тонко и разнообразно, но речь теперь о том слое, звуке бытия, который оба они реализуют. То, что дышит сквозь их тексты: вот эта теплота, нежность, сладость какой-то искомого гармоничной жизни — щелка в эту жизнь появляется в их текстах, проход во

что-то невообразимо милое и важное, интуитивно очевидное, но редко встречаемое наяву: зона человечности чуть ли не высшей пробы — как таковой, в сущности, и не воспринимаемой из-за своей естественности: без вкуса, без запаха — по составу соответствующей плоти души, входя в нее как вода в воду.

И С.-Э. и Чапек об этом знают. Чапек — мудрее. Он себе улыбается и пишет и у него все получается. А Экзюпери — хочет разобраться, мало того — сформулировать. Чапек займется садом — он знает, что на все есть свой порядок жизни и все растет в свой черед и срок, у него напишется «Год садовода», а Экзюпери — напишет о садовниках, выведших, наконец, новую розу, чтобы сблизить ее аллегорически с Моцартом. Как бы поступил Чапек, встретившись мимоходом, где-нибудь на Жижкове, с Христом? Думаю, приподняв шляпу, раскланялся бы да и пошел дальше.

А С.-Э., думаю, не поверил бы в его самостоятельность. Видите ли . . . игра-то продолжается. Что, вы полагаете, С.-Э. устроил себе эту летающую точку зрения и работает на перемешивании рефлексий с описаниями проезжающих под крылом ландшафтов? Укрепляя изложение отдельными прочными истинами? А я вот не уверен даже в том, что он описывает реальность виденного. Понимаете, всего этого могло и не быть. Его тексты: наглядное ментальное путешествие по ландшафтам души (правда, красиво?), объясняющей себя тем, что придет на ум из памяти сочинителя. Душа со всеми ее соотношениями, ангелами и демонами выворачивается наружу из человека, оборачиваясь пустыней, сахарским плато, скалами. Подкорка автора творит эти пейзажи на страницах, чтобы было место, где душе будет удобно сказать то, что она пожелает. Такой солярис. Это сложно устроить. (Для тех, кто сомневается в подобной трактовке: «Но со смертью каждого человека умирает неведомый мир, и я спрашивал себя, какие образы в нем гаснут? Что там медленно тонет в забвении — плантации Сенегала? Снежнобелые города Южного Марокко?»)

А можно и не так сложно: можно работать как бы с куклами и свести все это расплывающееся многообразие к схематичности сказки: «Планета людей» — кино, «Маленький принц» —

театр (но, впрочем, как сыграть это в театре? ведь актер должен быть одновременно и летчиком, и принцем, и обитателем любой из планет, потому что и здесь С.-Э. путешествует собой искомым (принцем) по всем остальным, нароющим, образовавшимся раз-делам своей души-психики).

В дом входит проповедник, святой человек. Неважно, что он написал когда-то и о чем думает вообще, но важно — что пришел и вот ласково смотрит, и мы будем разговаривать, что дает нам шанс на перемену жизни.

Вот он вошел, улыбнулся, стянул с головы свою летную пилотку, пристроил ее то ли на стол, то ли просунул под ремень, улыбнулся и . . . Как, о чем мы будем говорить? Возможны: интервью, проповедь, пресс-конференция, ответ на просьбу дать совет (совет, впрочем, будет весьма расплывчат). Никто не будет чувствовать себя ущемленным, обиженным, ни в ком через полчаса не останется почтительной оторопи, вечер пройдет в теплой и дружественной обстановке, но разговора — не получится. Он-то, в сущности, не знает, о чем с нами говорить. Он будет работать как под фонограмму. Общение стало ритуалом: он достает из своих запасов очередной камушек (как бы упавший с неба на пустынное сахарское плато) и дает его нам рассмотреть. Пощупать, полюбоваться формой и гладкостью, даже — если захотим — подержать во рту, покатав на языке: «ты навсегда в ответе за тех, кого приручил . . .» Да ведь только если уж ты и в самом деле способен приручить кого-то, то, смею утверждать, осознаешь все обстоятельства, связанные с этим актом.

Я придумал тест на жизненность текстов. Очень просто, при чтении давайте отвлечемся: заглянем в обрывок газеты, включим радио, посмотрим за окно. Или позвоним приятелю и переговорим. Впустим кусок неорганизованной жизни в художественный текст: как тот отреагирует? Утверждаю: если текст живой — отреагирует. Так или иначе. Тексты мертвые пропустят по-сторонность как инородное тело. У С.-Э. с этим вроде все благополучно. Резонанс, взаимодействие возникнут. Но очень интересным образом. Механизм будет примерно по схеме изображения требуемого барашка — тот в коробке и его можно видеть каким угодно. Читая С.-Э. всегда возможно до-вообразить его текст и получить желае-

мую реакцию. Жизнь там — внизу, внутри какого-то домика, разглядываемого сверху: там, под этой крышей может происходить что угодно и требуется. Там могут, например, даже читать «Московские новости».

Мы вновь на точке зрения автора. Точка зрения летания в полусне («святой» из заголовка взялся не из обыгрывания первой части фамилии С.-Э., но из его положения в пространстве: на такой высоте, очевидно, и обвязаны летать господни посланники — дабы и разглядеть что надо и не слишком при этом вдаваться в физиологические-бытовые-денежные подробности). В своем масштабе видения С.-Э. как бы увеличивается в размерах — держа на ладонях все эти города, пастбища, скалы.

Он вовсе не неискренен: литература это игра и профессия, в которых выбираются и роль и позиция — исходя из личных склонностей и намерений. Речь о том, что получилось в результате. А в результате выбранного строя прозы открывается возможность прямой, автоматически художественной речи, что, увы, устраняет какую бы то ни было возможность бокового зрения: невозможно, например, адекватное, живое описание персонажей — лишь выбор объекта и экзатика акта речи. И С.-Э. начинает уважать своих друзей («Не в том суть, Гийоме, что твое ремесло заставляет тебя . . . Не хуже поэта ты умеешь . . . сколько раз, затерянный в бездне тяжких ночей, ты . . .») как бы поставив их себе на ладонь, любясь ими как редкостной маркой филателист или как эти его мистические садовники выведенным шедевром. А это позиция . . . появляется мысль — жон не мнил ли себя и в самом деле С.-Э. посланником небес?

Собственно, скорее всего — да. Придет хватает: и прямая дидактика того, что надо разбудить спящих, и фраза, завершающая «Планету людей», и снизошедший откуда-то Маленький принц, и то, что его «Цитадель» — когда он решил сменить маску летчика на нечто другое и сказать как бы все — написана от лица некоего берберского принца, причем очень интересно выражается отец того: «Надо творить. Если ты способен на это — не заботься об остальном . . . Если ты основываешь религию, не заботься о догматике». Кто бы это

проводил подобный инструктаж и кому? И то, каким принцем снисходит автор в конце «Планеты людей» в вагон высылаемыми поляками: устроившись на свободной скамейке и некоторое время созерцая эту глину, эти кули, грустит о Моцарте, которого затопчут и, сочтя свой долг исполненным, уходит, изрекая глубокомысленную фразу: «Один лишь Дух . . .»

В общем-то — это его проблемы. Мир безразличен к самоназваниям. Да и речь, в сущности, идет лишь о выборе позиции для письма. Называясь, считай себя кем угодно, действуй как полагаешь нужным . . . полная свобода. Проблемы будут потом.

Подобный выбор, в общем, — результат личных обстоятельств и вкуса. Несомненно, что С.-Э. обладал ощущением, был одарен, наделен внутренним ощущением полноты души и жизни. Но передать его — выбрав подобную позицию — он не смог. Потому что вот что произошло с его текстами: возникла замкнутая система. Система, которая, как матовая лампочка, не пропускает сквозь себя изрядную долю вырабатываемого внутри нее света, а также — дробит свет пропускаемый, делая его аморфным, не позволяя увидеть его источник. Внутри автора число степеней свободы несравненно большее, нежели перешедшее в его тексты. Замкнутость следует из наличия границы, где обрываются отдельные свободы. Там как бы стоит светофильтр, пропускающий цвета лишь узкой полосой спектра. Проза, скажем, шафранного цвета — света вечерней лампы.

Остальное — не реализовавшееся письменно — остается в самом авторе. Он как бы содержит в себе блаженство жизни, которое не знает, каким образом отдать. И не просто остается — продолжает вырабатываться какое-то подкожное счастье, от которого нельзя освободиться, передать, избавиться, находясь в такой вот позиции, от которого невозможно, и которое — нарастая — и задушило в конце концов Экзюпери.

Что ж, воспримем его точку зрения как урок и «вернемся к занятиям под шум всепожирающего творения, которое уплотняется и вздымается» — как сказал Рембо, в вопросах одинокой самореализации разбиравшийся весьма неплохо.

ИСЧЕЗ В СЕРЕДИНЕ 30-х . . .

В 7-м номере «Даугавы» напечатана беседа И. Полоцка с членом комиссии Союза писателей Латвии по изучению репрессий и жертв времен культа личности Я. Шапарсом. Из нее следует, что комиссия Союза писателей занимается изучением судеб не только писателей, но и вообще творческой интеллигенции Латвии. Ведут ли аналогичную работу в своей области историки, неизвестно. Хотелось бы в связи с этим привлечь внимание, в числе прочих, к историку Н. Н. Ванагу.

Н. Н. Ванаг, автор книг «Финансовый капитал в России накануне мировой войны» (М., 1925; 2-е изд.: Харьков, 1930). «Ленинская концепция двух путей развития капитализма в России» (М.-Л., 1931) и ряда других работ, оставил весьма заметный след как оригинальный и глубокий исследователь истории России начала XX в. Его труды до сих пор привлекают внимание специалистов (до объективной оценки их еще, видимо, далеко), но о самом этом историке известно очень мало. Он исчез после преследования, которому подвергся в начале — середине 30-х годов по обвинению в троцкизме, терроризме и т. п. В русском издании «Большого террора» Р. Конквеста на с. 585 упомянут несомненно он, но с инициалами «Ю. П.».

Не исключаю возможности того, что в «Даугаве» или в каком-либо другом органе печати в Латвии что-либо о нем уже появлялось; в таком случае я был бы благодарен редакции за указание. Если же биографических сведений о нем еще не печаталось, то хотелось бы просить комиссию СП Латвии попытаться собрать минимальные сведения о Н. Н. Ванаге. Вероятно, делу помогла бы публикация настоящего письма в «Даугаве», и тогда возможные отклики можно было бы адресовать на мое имя.

Мой адрес: 117133, Москва, ул. Академика Варги, д. 22, кв. 60. Поликарпов Владимир Васильевич, кандидат исторических наук, консультант редакции журнала «Вопросы истории».

~

В 7-м номере «Даугавы» я прочитала, что в Риге создана комиссия, собирающая сведения о латышах, жертвах сталинских репрессий.

Сообщаю: мой отец — Элькснер Карл Иванович, 1900 г. рождения, латыш, уроженец г. Риги. Участвовал в гражданской войне. Работал начальником штаба Укрепленного района г. Кронштадта, флагман флота. Арестован 30 декабря 1937 г. Приговор: «Десять лет без права переписки».

Реабилитирован посмертно в 1956 году.

Очень хотелось бы узнать у комиссии, где можно получить хоть какие-нибудь сведения об отце, где и когда он погиб, где его могила. Вот уже 50 лет не утихает боль в сердце.

Дина Карловна КОНДРАТЬЕВА,
доцент Одесского государственного университета

ПОЗВОЛЬТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ

1. Было бы неплохо, если бы «Даугава» ввела на своих страницах новую рубрику — страничку под названием «латышский обиходный (разговорный) язык для русских» Грамотно и интересно составленный, такой раздел мог бы внести свой вклад в дело улучшения межнационального общения двух народов. Ничего похожего в этом плане у нас в стране пока еще нет, но почему бы вашему журналу не быть застрельщиком и здесь, тем более, что ваш журнал очень объективно рассматривает и этот вопрос, в котором много трудностей.

2. Было бы хорошо, если к материалу «Русские в Латвии» прибавился бы аналитический материал о правовой обеспеченности нацгрупп в республике. Это надо делать хотя бы потому, что немало кривотолков и разговоров, ну хотя бы в отношении инцидента прошлого года с учениками Рижской художественной школы прикладного искусства, случай, который всячески старались замять и «забыть» те, кто видит исключительно лишь «националистическую опасность». Все это тем более важно, что даже наши активнейшие перестроечники, сторонники гласности часто по национальным вопросам нашей жизни шагают в ногу с отъявленными ретроградами, используя при этом их терминологию: охотно и часто не к месту говорят о создавшейся опасности для русских в Латвии, муссируют слухи об «ущемлении их прав со стороны Народного фронта Латвии», высказываются «за полный контроль, в том числе и из центра, над этой массовой организацией...»

Одним словом — тоска по прошлому.

3. По поводу публикации о трагедии в Курапатах. Больше всего трагического — в поведении сегодняшних властей. Так если не затушевывать гласность — кто же эти люди из парт- и госаппарата, конкретно — вашему журналу не подобает здесь шептаться в ладошку. И еще — нельзя ли сообщить счет, по которому можно было бы выслать деньги для незаконно разогнанных на митинге и оштрафованных?

4. Что может сказать журнал относительно массовых расстрелов офицеров латышской армии после событий 1939 года. Что это — слухи, миф или же реальность?

Еще раз с уважением

Вадим ЧУБУКОВ,
г. Москва

УВАЖАЕМЫЙ ВАДИМ!

Спасибо за советы и темы, подсказанные Вами. О Ваших вопросах: номера счета мы не знаем и, скорее всего, он не существует. Но белорусские писатели могут точнее сориентировать Вас в Ваших интересах. Мы переслали копию Вашего письма им. Что касается массовых расстрелов офицеров латышской армии, то на сегодня известно следующее.

Уже 27 июля 1940 года новая власть преобразовала Латвийскую национальную армию в Латвийскую народную армию. Спустя ровно месяц, 27 августа, Латвийская народная армия была вновь преобразована в 24-й территориальный корпус, который вошел в 27-ю армию Прибалтийского особого военного округа. Приказом народного комиссара обороны СССР маршала Тимошенко от 15 ноября 1940 года все военнослужащие вновь образованного корпуса получили воинские звания Красной Армии. Форма одежды осталась прежняя, сменились лишь знаки различия

Вскоре части 24-го корпуса рассредоточиваются по территории Латвии. Из Риги выводятся почти все войска бывших латышских формирований. В конце мая 1941 года дивизии 24-го корпуса переводятся в район города Гулбене в два лагеря: Литенский военный лагерь и военный лагерь «Островиешни» (название неофициальное). Незадолго до рокового 14 июня оба лагеря спешно окружаются частями войск НКВД. С 13 июня всем военнослужащим запрещено покидать пределы лагерей. На следующий день офицеры получают приказ выйти на полевые занятия. Их собирают в группы и вывозят в лес, который уже заблокирован плотным кольцом солдат НКВД, вооруженных пулеметами. В лесу следует построение, затем — команда поднять руки вверх. . . Не пожелавших или не успевших поднять руки или

сдать оружие расстреливают на месте. Ямы для могил приготовлены заранее. Вскоре большую часть офицеров без предъявления обвинений сажают в вагоны и увозят. Поезд останавливается в Красноярске. Далее по воде и снова поездом — в Норильск. Судьба приблизительно шестисот депортированных офицеров известна. В Норильске их «судили» за контрреволюционную деятельность (ст. 58., п. 10). Происходило это, по свидетельству очевидцев, так. Офицера вызывали на допрос и задавали всего один вопрос: где вам лучше жилось — в буржуазной или Советской Латвии? Далее следовал приговор. Часть офицеров расстреляли в Норильске. Очень многие погибли в лагерях. Из шестисот депортированных вернулось домой чуть больше семидесяти человек. . . . Что происходит с оставшимися офицерами и солдатами в Латвии? Начинается война. Во всей стране идет мобилизация, а в Латвии начинается демобилизация. Во многих частях увольняют весь личный состав поголовно. В том числе и солдат срочной службы, только что призванных в армию. В некоторых частях желающим предлагается остаться воевать. Но в основном демобилизуют в приказном порядке. В приказах об увольнении пишется причина: в связи с сокращением штата. В эти дни уже бушует война! . . . «Справки» о демобилизации выдаются офицерами Красной Армии часто без печати, просто на листках из блокнота. Естественно, что такие «документы» ничего не стоили. Многие понимали это и старались спрятать бумажки и спрятаться сами. Начинается повальный исход домой. Однако на подступах к лагерям стоят пулеметы НКВД . . . Спасаются как правило те, кто уходят лесом.

13 октября 1988 года, спустя сорок шесть лет, постановлением первого заместителя прокурора Латвийской ССР, государственного советника юстиции 3-го класса В. Даукшиса в связи с этими событиями возбуждено уголовное дело. Сейчас идет следствие. На сегодняшний день найдено не так много: останки одиннадцати жертв, офицерские принадлежности, пуговицы, металлические коронки. Проводятся экспертизы найденного. На зимнее время раскопки в предполагаемых местах расстрелов приостановлены. Следствие занимается поиском свидетелей: устанавливает местонахождение военнослужащих из двух лагерей, ищет людей, живших в то время на хуторах вокруг города Гулбене.

Д. ФОНАРЕВ.
отдел публикации

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографи-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные, республиканские и областные отделения «Союзпечати».

Авторы снимков в тексте: Лаймонис Блодникс, Мара Брашмане, Харийс Бурмейстарс, Сергей Тяжелов, Лаурис Филиц.

Сдано в набор 05.01.89.

Подписано к печати 30.01.89. ЯТ 00106.

Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,

мелованная бумага. Офсетная печать.

Обложка, вклейки — высокая печать.

8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 15,27 усл. кр.-отт.,

11,06 уч.-изд. л. Тираж 80 000.

Заказ № 1953. Цена 45 коп.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,

Баласта дамбис, 3.

Телефоны: гл. редактор 466049,

зам. гл. редактора 465913,

отв. секретарь 465996.

отд. прозы 465992,

отд. поэзии 465998,

отд. критики и публицистики 465990,

техн. секретарь 465993.

Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,

226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор
Мудите АРАЯ.

Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.

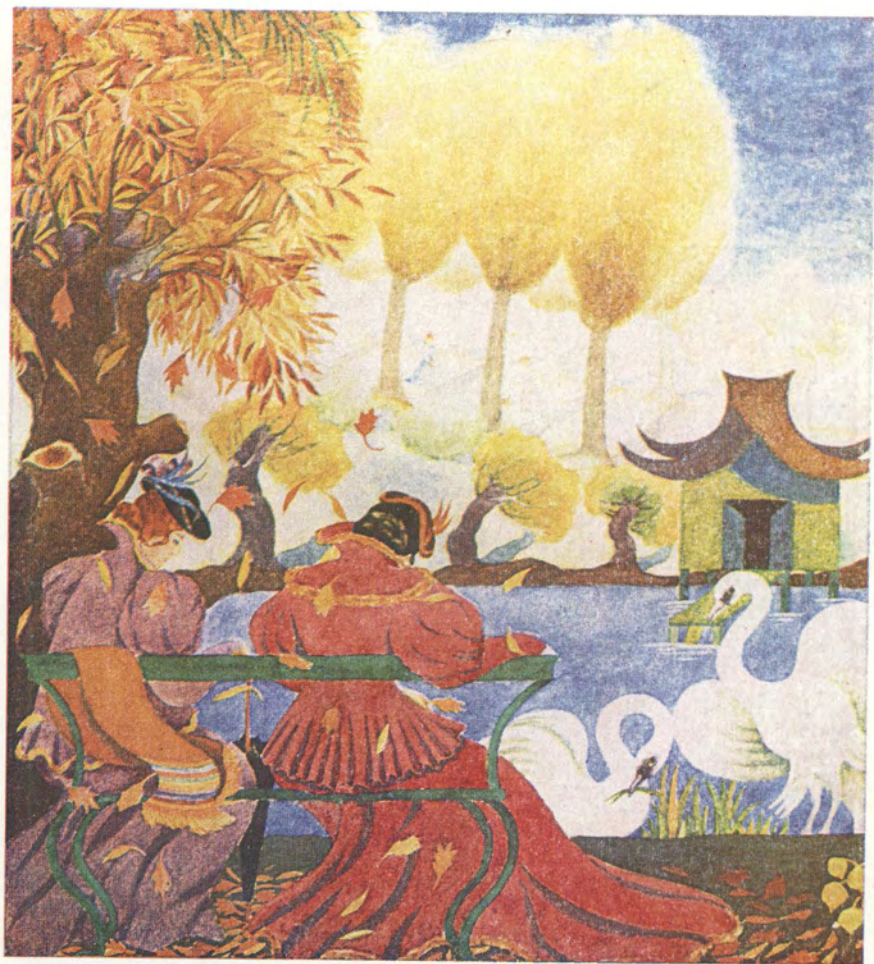
ХИЛЬДА ВИКА

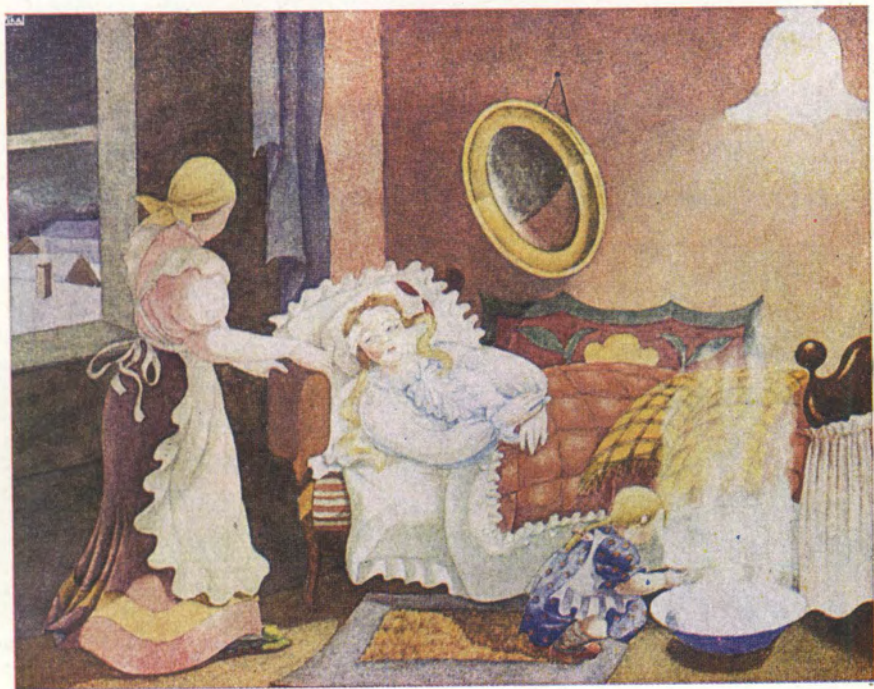
(см. материал на стр. 110)





На работу





Больная



Хильда Вина. Утро

Фото Мары Брашмане

45 коп.

Индекс 77123